

Д. Н. Кудрявскій.

ПРО  
1938 ГОД

# Введеніе въ языкознаніе.

Изданіе второе, исправленное и дополненное.



ПРОВЕРЕНО  
1938 г.

Юрьевъ (Дерптъ).

Типографія К. Маттисена.

1913.



ПРОВЕРЕНО

1911. 11. 11.

RAAMATUKOGU JA RAAMATUKOGU

RAAMATUKOGU JA RAAMATUKOGU

Est. A

Tartu Riikliku Kirjanduse  
Raamatukogu

15723

i 42536791

1911. 11. 11.

1911. 11. 11.

1911. 11. 11.

1940

Посвящается

Александръ Алексѣевичъ

Шалиной.

## Предисловіе къ первому изданію.

Выпускаемое мною „Введеніе въ языкознаніе“ сложилось изъ тѣхъ курсовъ, которые мнѣ неоднократно приходилось читать въ Юрьевскомъ Университетѣ и на Юрьевскихъ Высшихъ Женскихъ курсахъ. Не гонясь за подробностями и ограничивая исторію языкознанія лишь самымъ необходимымъ, въ своемъ изложеніи я старался представить по возможности цѣльный и связный обликъ современнаго языкознанія. Насколько мнѣ удалось выполнить эту трудную задачу, судить не мнѣ. Но я признаю себя вполнѣ удовлетвореннымъ, если мое изложеніе нѣкоторыхъ вопросовъ, продуманныхъ мною самостоятельно, будетъ признано нелишнимъ дополненіемъ къ уже существующей литературѣ.

Юрьевъ (Дерптъ),  
12 марта 1912 г.

Д. Кудрявскій.

---

## Предисловіе ко второму изданію.

Второе изданіе моего „Введенія въ языкознаніе“ очень немногимъ отличается отъ перваго: устранены замѣченныя ошибки, нѣсколько подновлены библиографическія указанія и въ обзорѣ индо-европейскихъ языковъ упомянуты результаты новѣйшихъ открытій въ Центральной Азіи. Въ остальномъ книга осталась безъ измѣненій.

Юрьевъ (Дерптъ),  
12 августа 1913.

Д. Кудрявскій.

---

### Замѣченные опечатки.

(Цыфры обозначаютъ страницу и строку).

---

8,10 какъ — 8,21—22 употребить — 9,1 идеальнымъ — 9,39 sich —  
10,19 значеніи — 13,33 совпадать — 14,11 этого — 14,16 „членораздѣльномъ —  
15,13 расчлененіе — 16,24 Между — 20,15 словамъ — 22,16 крайне — 22,20  
объяснять — 31,23 которую — 42,22—23 соединяемъ — 48,30 девять (вм.  
восемь) — 53,27 Онѣ — 65,3 связи.

## Содержаніе.

	стр.
Введеніе . . . . .	1— 11
„Введеніе въ языкознаніе“ — лингвистическая пропедевтика. Неопредѣленность содержанія (1). Литературныя указанія (2). Прикладное значеніе языкознанія (2): Незнакомство съ языкознаніемъ нашего образованнаго общества. Возникновеніе языкознанія (3): изобрѣтеніе письма, толкованіе старыхъ текстовъ, школы ученыхъ (4). Обученіе родному языку. Методы преподаванія языка (5): переводы на иностранныя языки (6). Общеобразовательное значеніе языкознанія: языкъ — орудіе мысли (7); необходимо знать природу этого орудія (8); бессознательное пользованіе языкомъ; злоупотребленія словомъ: въ спорахъ (9), въ философскихъ трактатахъ. Точность математики (10). Значеніе языкознанія при изученіи историческихъ памятниковъ. Выводы (11).	
§ 1. Выясненіе термина „языкъ“ . . . . .	12— 13
Различныя значенія слова „языкъ“ въ обыденномъ употребленіи. Въ языкознаніи: языкъ отдѣльнаго человѣка, — писателя, — народа, человѣческой языкъ вообще (12); языкъ животныхъ; языкъ жестовъ (13).	
§ 2. Опредѣленіе человѣческаго языка . . . . .	13— 18
Предварительное опредѣленіе языка по Габеленцу: 1) Значеніе термина „мысль“; 2) „Членораздѣльный звукъ“; Буслаевское толкованіе его (14); непослѣдовательность этого толкованія; у животныхъ есть членораздѣльные звуки (15). „Членораздѣльность выраженія мысли“ въ Габеленцовскомъ смыслѣ: звуки животныхъ и междометія человѣка (16) противопоставляются членораздѣльному языку. 3) Языкъ долженъ быть звуковой; жесты непригодны для членораздѣльнаго выраженія мысли; нечленораздѣльность языка глухонѣмыхъ (17).	
§ 3. Грамматика и логика . . . . .	18— 26
Вопросъ объ отношеніи языка къ мысли (18). Основныя посылки логическаго толкованія явленій языка. Миѣніе Буслаева (19). Разборъ его (20). Отношеніе грамматики къ логикѣ: логическая форма мысли (21); языковая форма мысли; звуковое выраженіе мысли не существенно для логики. Трудность отдѣленія мысли отъ языкового ея выраженія (22). Случаи возможнаго отдѣленія мысли отъ словеснаго ея выраженія. Сравненіе грамматическихъ и логическихъ категорій: 1) Слово и понятіе: слово —	

знакъ понятія; синонимы (23); положительная форма словъ — отрицательныя понятія, отрицательныя слова — положительныя понятія. 2) Предложеніе и сужденіе: несоотвѣтствіе въ выраженіи сужденія предложеніемъ и въ дѣленіи предложеній и сужденій. 3) Части предложенія и элементы сужденія: двучленное дѣленіе сужденія и многочленные предложенія (24). Несоотвѣтствіе между частями сужденія и главными частями предложенія. 4) Одночленные предложенія. Грамматическія и логическія формы различны по существу (25): логика совершенно не приложима къ объясненію явленій языка. Методологическая ошибка логическаго направленія.

- § 4. Языкъ — дѣятельность . . . . . 26— 28  
Мертвые и живые языки. Живое и мертвое въ языкѣ. Языкъ — дѣятельность. Явленія, заставляющія забывать объ этомъ: наблюденія явленій языка (27); письменность и установленіе грамматическихъ правилъ. Общественная сторона языковой дѣятельности (28).
- § 5. Языкъ и звуки животныхъ . . . . . 28— 32  
Инстинктъ животныхъ. Рефлективный характеръ звуковъ животныхъ. Инстинктъ въ человѣкѣ (29). Умъ животныхъ и сознательное, разумное пользованіе звуками. Пониманіе звуковъ. Дрессировка (30). Усвоеніе значенія словъ говорящими птицами (31). Неспособность къ усвоенію членораздѣльности человѣческой рѣчи (32).
- § 6. Междометіе и слово . . . . . 32— 35  
Сходство междометій и звуковъ животныхъ (32). Отсутствіе значенія въ междометіи. Его общепонятность (38) и связь съ сильнымъ душевнымъ движеніемъ. Отсутствіе постоянной связи между звукомъ и значеніемъ въ словѣ (34). Определенность значенія въ словѣ. Историческое развитіе слова. Ослабленіе чувства.
- § 7. Природа слова . . . . . 35— 44  
Отвлеченность слова (35) предполагаетъ долгій опытъ и классифицирующую работу ума (36). Созданіе новыхъ значеній словъ (37). Символь. Три элемента въ словѣ (38). Внутренняя форма (39). Важная роль сопоставленія представлений и словъ въ созданіи новыхъ значеній (40). Названія цвѣтовъ (41). Преимущества заимствованныхъ словъ. Значеніе сопоставленій для развитія мысли (42). Сравненіе съ математикой. Языкъ поэзіи и его образность (43). Польза забвенія внутренней формы. Освобожденіе отъ вліянія слова (44).
- § 8. Морфологическая классификація языковъ. 44— 48  
Вопросъ о происхожденіи языка. Эволюціонная точка зрѣнія на развитіе формъ языка. Языки корневые (45), агглютинирующіе, флексирующие (46). Гипотеза трехъ ступеней развитія языка. Паденіе этой гипотезы. Агглютинація (47).

- § 9. Генеалогическая классификація языковъ. Родство языковъ. Индо-европейскіе языки (48—51). Семитскіе языки. Угро-финскіе языки. Другія группы родственныхъ языковъ (51). Родство между собою отдѣльныхъ группъ. Отношеніе къ вопросу о происхожденіи языка (52). 48— 52
- § 10. Постановка вопроса о происхожденіи языка. Теоріи звукоподражанія (52). Звуковой жестъ. Теоріи междометій (53). Общая ошибка этихъ теорій. Сбивчивость въ пониманіи термина „языкъ“ (54). Постановка вопроса о происхожденіи языка (55). 52— 55
- § 11. Посильный отвѣтъ на вопросъ о происхожденіи языка . . . . . 56— 60  
Сложность вопроса. Головной мозгъ. Органы рѣчи человѣка. Способность обобщенія (56). Пониженіе впечатлительности. Превращеніе междометія въ символъ (57). Членораздѣльность и ея возникновеніе (58). Установленіе этаповъ перехода отъ междометія къ слову. Общественныя условія (59). Вертикальное положеніе человѣка и его значеніе (60).
- § 12. Вспомогательныя дисциплины языкознанія . 61— 62  
Физиологія звука. Экспериментальная фонетика (61). Семасіологія, или семантика. Психологія (62).
- § 13. Физиологія звука . . . . . 62— 89  
Звукъ: музыкальный, шумъ. Условія возникновенія звуковъ человѣческой рѣчи. Органы рѣчи (63—64). Голось, его высота, сила и тембръ (65). Фальсетъ. Шопоть. Придыханіе. Небная занавѣска. Полость носа (66). Полость рта: губы (67), зубы, альвеолы, твердое небо, мягкое небо (небная занавѣска), языкъ, надгортанникъ. Движенія языка (68): интердентальная артикуляція, альвеолярная артикуляція, церебральная артикуляція. Спиранты (69). Палатальная и велярная артикуляція. Увулярное р. Отдѣльные звуки (70). Переходные звуки. Паузы. Взрывные звуки (71). Классификація отдѣльныхъ звуковъ (72). Звонкіе и глухіе звуки. Лабиализація (73). Губо-губные звуки. Палатализація. Альвеолярные звуки. Церебральные звуки (74). Палатальные звуки. Велярные звуки. Спиранты губо-зубные, интердентальные (75), альвеолярные (свистящіе и шипящіе) церебральные, палатальные (76), велярные. Носовые спиранты. Плавные р (77) и л. Гласные: (78) и е, э, (79) а, о, у, ы. Сложные звуки: придыхательные (80), аффрикаты. Комбинаціи звуковъ. Принципъ экономіи движеній органовъ рѣчи (81). Фаукальный (82) и латеральный взрывъ. Уподобленіе. Двойные согласные. Палатализація и лабиализація (83). Переходные звуки: байня, ндравиться (84). Слогъ (85). Слогообразующіе носовые и плавные. Двугласные (86). Удареніе: экспираторное и

- музыкальное (87). Вліяніе экспираторнаго ударенія на конечные слоги словъ. Значеніе музыкальнаго ударенія (88).
- § 14. Психологическій факторъ въ языкѣ . . . . . 89—97
- Сложность строенія нервной системы, завѣдующей механизмомъ рѣчи (89). Ассоціаціи: слова и значенія (90), словъ соящихся рядомъ (91), сходныхъ словъ: народная этимологія. Типы склоненій и спряженій (92). Склоненіе иностранныхъ словъ (93). Созданіе новыхъ формъ по аналогіи. Ассоціаціи группъ словъ и предложеній (94). Атракція. Созданіе новыхъ формъ и оборотовъ: причастіе будущаго времени (95), причастіе прош. вр. съ частицею „бы“ (96), дѣепричастіе съ частицею „бы“, (97).
- § 15. Грамматическій строй индоевропейскихъ языковъ . . . . . 97—130
- Предложеніе; его школьное (логическое) опредѣленіе; психологическое опредѣленіе Пауля и Вундта (98). Опредѣленіе Дельбрюка (99). Игнорированіе формальной стороны — причина неудачи опредѣленій. Двойное значеніе слова „предложеніе“. Историко-сравнительная точка зрѣнія Поттебни (100). Именное и глагольное предложеніе. Части рѣчи (101): глаголь и имя (существительное и прилагательное). Школьная опредѣленія ихъ. Научная характеристика (102). Истрія индо-европейскаго глагола: виды (103), возникновеніе временъ: прошедшаго (104), настоящаго и будущаго (105—106). Системы грамматическихъ временъ. Происхожденіе категоріи грамматическаго рода (107—108). Части предложенія: главныя и второстепенныя. Подлежащее (109), именное сказуемое (110). Безличныя предложенія. Сказуемое — глаголь (111). Связка и ея происхожденіе (111—112). Предложеніе безъ сказуемаго (113): латинск. *infinitivus historicus* (114). Второстепенные члены предложенія; опредѣленіе (115), дополненіе (116), обстоятельство (117—119). Нарѣчіе (120). Дѣепричастіе. Предлогъ (121). Синтаксисъ сложнаго предложенія (122): Слитное предложеніе (123). Главныя и придаточныя предложенія. Школьная классификація придаточныхъ предложеній (124). Мѣстоименіе относительное (125) и его возникновеніе. Союзы (126). Сокращенныя придаточныя предложенія (127—128). Выводы: части предложенія и части рѣчи (129). Числительныя и мѣстоименія. Заключеніе (130).

#### Объясненіе нѣкоторыхъ знаковъ.

Въ санскритскихъ словахъ с произносится, какъ русск. ч, j — какъ дж, ç — какъ шь, h — какъ х. Звѣздочка \* передъ словомъ, частью слова или звукомъ обозначаетъ, что существованіе этого слова, части слова или звука лишь теоретически предполагается, а памятниками не засвидѣтельствовано.

## Введение.

„Введение въ языкознание“ не представляетъ изъ себя особой научной дисциплины. Курсы введения въ языкознание, читаемые въ нашихъ университетахъ, вызваны исключительно практическими требованиями преподаванія. Лица, которыя имѣютъ въ виду заниматься сравнительною грамматикою индо-европейскихъ языковъ, должны предварительно ознакомиться съ нѣкоторыми общими вопросами языкознанія и усвоить основныя положенія нѣкоторыхъ дисциплинъ, находящихся приложеніе въ сравнительной грамматикѣ. Такова, напримѣръ, физиологія звука, рассматривающая физическія условія произношенія и воспріятія звуковъ человѣческой рѣчи. Съ этой точки зрѣнія содержаніе „Введения въ языкознание“ можетъ быть охарактеризовано, какъ лингвистическая пропедевтика.

Но тѣ же самыя общіе вопросы языкознанія имѣютъ и общеобразовательное значеніе, и знакомство съ ними необходимо всѣмъ, занимающимся филологіей въ широкомъ смыслѣ этого слова, т. е. и историкамъ, интересующимся языкомъ обыкновенно только, какъ средствомъ для ознакомленія съ содержаніемъ изучаемыхъ ими памятниковъ.

Эти обстоятельства и заставляютъ выдѣлять изъ обширной области языкознанія особый курсъ введенія въ эту науку. Но тѣ же самыя обстоятельства обусловливаютъ и нѣкоторую неопредѣленность содержанія такого введенія. Одинъ предпочитаетъ излагать въ общемъ курсѣ введенія въ языкознание тѣ вопросы, которые другой разбираетъ въ курсѣ сравнительной грамматики. Такой субъективизмъ въ выборѣ матеріала неизбѣженъ и нерѣдко вызывается практическими требованиями экономіи времени.

Изъ такихъ введеній, не вполне совпадающихъ, а взаимно дополняющихъ другъ друга, можно назвать слѣдующія книги:

В. Поржезинскій (Профессоръ Университета и Высшихъ Женскихъ Курсовъ въ Москвѣ). Введение въ языковѣдѣніе. Пособіе къ лекціямъ. Изданіе 3-е, пересмотрѣнное и дополненное. Москва 1913.

А. И. Томсонъ (ордин. профессоръ сравнительнаго языковѣдѣнія и санскрита Императорскаго Новороссійскаго Университета). Общее языковѣдѣніе. Второе переработанное и дополненное изданіе со многими рисунками въ текстѣ. Одесса 1910.

С. М. Кульбакинъ. Языкъ и языки (Въ VII томѣ „Народной Энциклопедіи научныхъ и прикладныхъ знаній“. Изд. Харьковскаго Общества распространенія въ народѣ грамотности. Москва 1911).

Д. Н. Ушаковъ. Краткое введеніе въ науку о языкѣ. Съ рисунками. Москва 1913.

Изъ сочиненій на нѣмецкомъ языкѣ можно указать слѣдующія работы:

В. Delbrück. Einleitung in das Studium der indogermanischen Sprachen. Ein Beitrag zur Geschichte und Methodik der vergleichenden Sprachforschung. 5. Auflage Leipzig 1908. — Есть русскій переводъ, сдѣланный подъ редакціей проф. С. К. Булича съ третьяго нѣмецкаго изданія, носившаго и нѣсколько иное заглавіе „Введеніе въ изученіе языка“, см. С. К. Буличъ. Очеркъ исторіи языкознанія въ Россіи, т. 1. СПб. 1904 г.

Hermann Paul. Prinzipien der Sprachgeschichte 4. Auflage. Halle a. S. 1909.

Georg von der Gabelentz. Die Sprachwissenschaft, ihre Aufgaben, Methoden und bisherigen Ergebnisse. Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage herausgegeben von Dr. Albrecht Graf von der Schulenburg. Leipzig 1901.

Прикладное значеніе языкознанія<sup>1)</sup>. — Всякій, приступающій къ изученію какой-либо науки, обыкновенно имѣетъ вполне законное желаніе узнать, какое значеніе имѣетъ данная наука, для чего она нужна. Если при изложеніи другихъ областей знанія по большей части не приходится

1). Ср. мою статью подъ тѣмъ же заглавіемъ въ „Русской Школѣ“ за 1904 г. № 2 (февраль) стр. 116—125.

говорить о пользѣ данной науки, то это происходитъ отъ того, что польза другихъ наукъ, въ особенности естественныхъ и математическихъ, извѣстна всѣмъ, и говорить на эту тему значить повторять избитыя общеизвѣстныя истины. Обыкновенно и самъ избирающій ту или другую специальность сознательно преслѣдуетъ извѣстную практическую цѣль.

Съ языкознаніемъ дѣло обстоитъ нѣсколько иначе. Въ наше время гораздо чаще слышишь рѣчи о ненужности изученія различныхъ языковъ: ненуженъ греческій языкъ, ненуженъ латинскій языкъ; для практическихъ цѣлей нужны только новые языки; изученіе древнихъ языковъ снисходительно разрѣшается только чудакамъ-любителямъ. Правда, трудно слышать отрицательное отношеніе къ наукѣ языкознанія вообще; но это объясняется только тѣмъ, что наше образованное общество не имѣетъ никакого представленія объ этой наукѣ. Обыкновенно отъ языковѣдовъ требуютъ только разрѣшенія вопросовъ правописанія, и если языковѣдъ не сумѣетъ объяснить поставленнаго ему вопроса (а по большей части такъ и случается), то это обстоятельство лишь подкрѣпляетъ убѣжденіе въ совершенной ненужности языкознанія: оно не можетъ разъяснить даже вопросовъ правописанія. Однимъ словомъ, съ обывательской точки зрѣнія языкознаніе — наука совершенно чуждая жизни, совершенно къ ней неприменимая.

Языковѣдъ подходитъ къ вопросу о пользѣ языкознанія совершенно съ другой стороны. Прежде всего онъ знаетъ исторію своей науки, и знаетъ, что ни одна наука не возникла изъ одной только любознательности по прихоти мечтателей и чудаковъ. И дѣйствительно, зачатки языкознанія восходятъ къ глубокой древности и возникаютъ изъ насущныхъ, жизненныхъ потребностей человѣка.

Надъ вопросами языкознанія люди задумывались еще до изобрѣтенія письменности. Объ этомъ свидѣлствуютъ очень древніе мифы о возникновеніи языка или языковъ, въ родѣ, на примѣръ, еврейскаго сказанія о Вавилонскомъ столпотвореніи. Очевидно самый фактъ существованія у людей различныхъ языковъ старались такъ или иначе объяснить. Но эта задача, трудная даже и для современнаго языкознанія, конечно, не могла быть разрѣшена научно въ тѣ далекія времена: въ этихъ мифахъ мы можемъ видѣть только дока-

зательство того, что жизнь ставила человѣку и тогда вѣчный неразрѣшимый вопросъ о происхожденіи языка.

Изобрѣтеніе письма указываетъ на то, что къ этому времени накопился уже значительный запасъ наблюдений надъ строемъ языка: на письмѣ человѣческая рѣчь является уже разложенною на составные элементы. Если и мы въ настоящее время нерѣдко затрудняемся, какъ нужно раздѣлить нашу рѣчь на слова, то мы можемъ себѣ представить, сколькихъ усилій стоилъ тотъ первоначальный анализъ рѣчи, на основѣ котораго только и могла возникнуть письменность.

Съ появленіемъ письменности задачи все болѣе и болѣе усложняются. Языкъ постоянно измѣняется, и записанное на немъ становится все менѣе и менѣе понятнымъ. Между тѣмъ сохраненіе старинныхъ текстовъ и правильное ихъ пониманіе составляло насущную потребность народа: записывались обыкновенно либо священные тексты, либо тексты историческаго содержанія; и тѣ и другіе были одинаково дороги народу. Такимъ образомъ появляются лица, умѣющія читать и толковать данные тексты: это — первые языковѣды. На этой почвѣ съ дальнѣйшимъ усложненіемъ дѣла создаются пособія для толкованія текстовъ: пишутся комментаріи, составляются словари и грамматики. Такъ было въ Греціи, гдѣ толковались творенія Гомера; такъ было и въ Индіи, гдѣ брахманы (индійскіе жрецы) должны были толковать священные ведическіе гимны, которые пѣлись при богослуженіи. Припомнимъ, что и у насъ грамотность соединялась съ обученіемъ чтенію Священнаго Писанія, и первая книга для чтенія обыкновенно была Псалтирь.

Рука объ руку съ этой работой толкованія старинныхъ текстовъ идетъ и развивается и педагогическая дѣятельность ученыхъ. Вокругъ нихъ группируется кружокъ учениковъ, которые наслѣдуютъ и продолжаютъ работу своихъ учителей. Мало-по-малу новая наука перестаетъ быть привилегіей ограниченнаго класса ученыхъ и становится общимъ достояніемъ народа. Всякій желающій обыкновенно находитъ возможность ознакомиться съ элементами грамотности, и ему такимъ образомъ дѣлаются доступными произведенія родной письменности. Организуется систематическое обученіе дѣтей чтенію и письму, и обученіе родному языку становится основой всего дальнѣйшаго обученія.

Въ этомъ отношеніи дѣло не измѣнилось и до настоящаго времени. Кругъ элементарныхъ наукъ, правда, значительно расширился, но вмѣстѣ съ тѣмъ расширились и требованія въ области родного языка и литературы. Мы не можемъ себѣ представить, чтобы когда-либо въ будущемъ дѣло могло итти иначе. Обученіе родному языку всегда будетъ лежать въ основѣ образованія, и многимъ изъ тѣхъ, кто избираетъ своею спеціальностью изученіе языка, несомнѣнно придется посвятить себя этому дѣлу.

Для будущаго преподавателя языка знакомство съ основами языкознанія, съ явленіями жизни языка, съ силами, вызывающими эти явленія безусловно необходимо. Преподавать языкъ безъ знакомства съ общими вопросами языкознанія можно только ощупью, безсознательно. Особенно даровитый преподаватель, конечно, иногда можетъ достигнуть очень хорошихъ результатовъ и безъ знакомства съ языкознаніемъ, только благодаря своей природной чуткости, дающей возможность бозсознательно пользоваться силами дѣйствующими въ языкѣ. Но такой преподаватель — исключеніе; и ему не далеко до самостоятельнаго открытія уже открытыхъ истинъ языкознанія.

Гораздо чаще приходится встрѣчать такихъ преподавателей языка, которые, желая облегчить ученикамъ усвоеніе предмета, стараются дать явленіямъ свое толкованіе, чаще всего невѣрное. А ученики, усвоивъ объясненіе переподавателя, съ теченіемъ времени убѣждаются въ его неправильности и выносятъ твердое убѣжденіе въ томъ, что въ языкѣ ничего нельзя объяснить, что правила устанавливаются для того, чтобы изъ нихъ были исключенія, и что вообще всѣ существующія объясненія — празднаыя измышленія, придуманныя ad hoc. Это печальное явленіе, поддерживающее то отрицательное отношеніе къ языкознанію, которое господствуетъ въ нашемъ обществѣ, вызывается недостаточнымъ знакомствомъ съ наукою объ языкѣ.

Нигдѣ практика не находится въ такой тѣсной зависимости отъ теоріи, какъ именно въ дѣлѣ обученія языку. Не говоря уже о томъ, что переподаватель языка всегда долженъ хотъ отчасти познакомить своихъ учениковъ и съ теоріею, часто даже незначительная теорическая подробность можетъ облегчить ученикамъ усвоеніе предмета. Неуспѣхъ

преподаванія языка часто зависить, на примѣръ, отъ того, что переподаватель слишкомъ повышаетъ требованія въ области теоретическихъ свѣдѣній въ ущербъ практикѣ: если бы онъ зналъ, какимъ путемъ усваивается языкъ, то онъ легко понялъ бы свою ошибку. Языкознаніе научаетъ сознательно пользуется тѣми безсознательно дѣйствующими силами, которыя играютъ роль въ усвоеніи языка. Трудно перечислить всѣ тѣ услуги, которыя языкознаніе можетъ оказать дѣлу преподаванія. Если-бы у насъ было больше свѣдѣній изъ этой области, если-бы нашъ интересъ къ ней не ограничивался вопросами правописанія, если-бы мы понимали хотя бы отношеніе звуковъ слова къ ихъ графическому, весьма несовершенному изображенію; то, вѣроятно, и вопросы орѳографіи были бы разрѣшены у насъ съ бѣльшею легкостью, и не ставили бы мы судьбу молодыхъ людей въ зависимость отъ такъ называемаго „правильнаго“ употребленія буквы **Ѣ** и другихъ условностей традиціонной орѳографіи.

Для примѣра обратимъ вниманіе на господствующую у насъ систему преподаванія языковъ. Обыкновенно она основывается на переводахъ съ изучаемаго языка на родной языкъ и обратно. Между тѣмъ, вотъ что говоритъ нѣмецкій языковѣдъ Георгъ фонъ-деръ-Габеленцъ, знавшій много языковъ земного шара († 1893 г.): „Всякая метода переподаванія языка должна по возможности ограничивать переводы. Мы естественно пользуемся роднымъ языкомъ, какъ средствомъ преподаванія чужого; но это посредничество всегда есть зло, хотя и необходимое зло. Чѣмъ чаще напоминаютъ намъ родное, тѣмъ труднѣе намъ на чужбинѣ чувствовать себя какъ дома . . . Во многихъ мѣстахъ еще до сихъ поръ злоупотребляютъ переводами и экстемпораліями. Переподавателю они болѣе нужны, чѣмъ ученику, который долженъ доказать, что онъ хорошо усвоилъ выученныя правила и слова и умѣетъ ихъ правильно примѣнять. Но ученикъ долженъ при этомъ совершать удивительную гимнастику, постоянно перепрыгивая съ одного языка на другой и нигдѣ не находя покоя. Это можетъ служить прекраснымъ упражненіемъ какихъ-либо другихъ способностей ума, но для изученія языка успѣхъ этого занятія сомнителен“<sup>1)</sup>. Только

1) Die Sprachwissenschaft<sup>2</sup> S. 71—72.

въ самое послѣднее время стали примѣнять другіе методы преподаванія языка, правда, не всегда съ успѣхомъ. Но вѣдь надо помнить, что тутъ необходимо пользоваться всѣми силами, дѣйствующими при усвоеніи языка, а правильное соотношеніе различныхъ методовъ преподаванія можетъ быть оцѣнено только на основаніи данныхъ науки о языкѣ.

Такимъ образомъ языкознаніе служитъ дѣлу преподаванія родного и чужихъ языковъ, и можетъ и должно принести въ этой области много пользы, если только будетъ пользоваться бѣльшимъ вниманіемъ въ средѣ преподавателей. Я нарочно подчеркиваю эту педагогическую сторону прикладного значенія языкознанія, хотя она и очевидна сама по себѣ, такъ какъ все же на эту сторону обращаютъ слишкомъ мало вниманія. Чѣмъ глубже преподаватель будетъ вдумываться въ явленія языка, чѣмъ яснѣе будетъ видѣть и понимать систему движущихъ языкъ силъ, тѣмъ плодотворнѣе будетъ его педагогическая дѣятельность.

Но кромѣ этого прикладного значенія языкознаніе имѣетъ еще и другое, болѣе общее. Языкъ служитъ выраженію нашихъ мыслей и является средствомъ общенія людей между собою. Мысль только тогда пріобрѣтаетъ ясность и опредѣленность, когда она выражена словомъ. Слово, закрѣпляя мысль, даетъ возможность развивать её далѣе. Слово играетъ такую же роль, какъ условные знаки въ математикѣ. Какъ невозможно себѣ представить развитіе математики безъ этихъ условныхъ знаковъ, слагающихся въ математическія формулы, такъ невозможно представить себѣ и развитіе мысли безъ языка. Языкъ въ свое время далъ великій толчекъ развитію культуры, сросся съ существомъ человѣка и сдѣлался, какъ бы органомъ общенія людей между собою. Обладаніе языкомъ сдѣлалось настолько естественнымъ, что мы пользуемся его услугами безсознательно, играемъ словомъ, находимъ удовольствіе въ упражненіи этой нашей способности безъ всякой опредѣленной сознаваемой цѣли, точно такъ же, какъ мы находимъ удовольствіе въ прогулкахъ и гимнастикѣ. Поэтому мы обыкновенно и не замѣчаемъ, какую услугу оказываетъ намъ языкъ. Нужны особенныя условія, чтобы пробудить наше сознательное отношеніе къ языку.

Уже первыя попытки изложенія мыслей на письмѣ показываютъ, какое значеніе имѣетъ словесное ихъ выраженіе.

Часто только изложивъ свои мысли, замѣчаешь въ нихъ ошибки, противорѣчія, неточности и видишь, что самый процессъ облеченія мыслей въ форму слова оказываетъ дисциплинирующее вліяніе на нихъ. Такъ бываетъ всегда: орудіе, увеличивающее наши естественныя данныя природою силы, оказываетъ обратное вліяніе на органъ, работающій при помощи этого орудія. Языкъ, какъ орудіе нашей мысли, оказываетъ обратное вліяніе на мысль, увеличиваетъ ея силы, изошряетъ её.

Особенность языка, какъ орудія мысли, заключается только въ томъ, что здѣсь человѣкъ превращаетъ въ орудіе не внѣ его лежащія силы, а свои собственные органы. Этимъ обстоятельствомъ и объясняется, почему мы гораздо меньше обращаемъ вниманія на языкъ, чѣмъ на техническія открытія послѣдняго времени: они болѣе бросаются въ глаза, болѣе доступны наблюденію, чѣмъ въ насъ самихъ происходящіе физическіе, фізіологическіе и психическіе процессы, сопровождающіе нашу рѣчь. Но это обстоятельство, конечно, не можетъ служить оправданіемъ невнимательнаго отношенія къ вопросамъ языкознанія. Напротивъ, чѣмъ труднѣе изучить языковые процессы, тѣмъ болѣе усилій необходимо употребить, чтобы ихъ понять. Я говорю „необходимо“ не въ томъ только смыслѣ, что всякій желающій ознакомиться съ языкознаніемъ не долженъ шадить своихъ силъ, но также и въ томъ смыслѣ, что существуетъ потребность въ изученіи языка, которую необходимо принять во вниманіе.

Языкомъ, какъ орудіемъ мысли, пользуются всѣ; ни одна наука, даже математика, изобрѣтшая свой собственный языкъ знаковъ, не можетъ обойтись безъ языка. Какъ всеобщее орудіе мысли языкъ долженъ привлечь къ себѣ вниманіе всякаго, кто имъ пользуется. Физикъ, прежде чѣмъ производить изслѣдованія долженъ познакомиться съ тѣми приборами, которыми онъ пользуется, узнать даже индивидуальныя ихъ особенности, измѣрить степень ихъ точности, чтобы внести необходимыя поправки въ результаты своихъ изслѣдованій. То же дѣлаетъ и естествоиспытатель и математикъ, опредѣляющій степень точности своихъ вычисленій. Только по отношенію къ языку это почему то считается ненужнымъ. Характеръ этого орудія мысли почему то считается уже всякому извѣстнымъ; а между тѣмъ языкъ является

вовсе не идеальнымъ орудіемъ, можетъ быть даже весьма неточнымъ средствомъ выраженія нашихъ мыслей.

До нѣкоторой степени, конечно, всякій владѣющій языкомъ имѣетъ извѣстное представленіе о силахъ, дѣйствующихъ въ немъ. Но бѣда въ томъ, что человѣкъ владѣетъ языкомъ безсознательно; между предметами и ихъ именами устанавливается до такой степени тѣсная и прочная ассоціація, что мы часто довольствуемся словомъ тамъ, гдѣ слѣдовало-бы быть понятію. Мѣткія слова Гёте, вложенныя въ уста Мефистофеля, имѣютъ глубокой смыслъ и весьма широкую область примѣненія: „Гдѣ нѣтъ понятій, тамъ всегда во-время является къ услугамъ нашимъ слово. Словами удобно можно спорить, на словахъ удобно строить философскую систему . . .“ <sup>1)</sup>. Въ этихъ словахъ удачно отмѣчены два главнѣйшихъ злоупотребленія словомъ: во первыхъ, многочисленные, всякому хорошо знакомые споры о словахъ; и во-вторыхъ философскія системы, построенныя на словахъ. Послѣдній упрекъ выраженъ здѣсь, быть можетъ, слишкомъ рѣзко, но въ существѣ дѣла онъ совершенно правилень. Быть можетъ, когда философскія системы будутъ подробнѣе разобраны съ точки зрѣнія языка, окажется, что онѣ всѣ грѣшили, въ большей или меньшей степени играя словами. Эта игра словъ обыкновенно сводится къ нарушенію основного закона логики, закона тождества. Всѣ слова въ языкѣ употребляются довольно свободно: одно и то же слово въ различныхъ сочетаніяхъ имѣетъ и различныя значенія. Достаточно немного уклониться въ сторону, и то же самое слово приметъ уже другое значеніе, и только съ виду будетъ казаться, что мы говоримъ о томъ же, а на самомъ дѣлѣ наша мысль уже перескочитъ на другой предметъ. Такіе скачки обычно совершаютъ наши споры, то же происходитъ нерѣдко и въ философскихъ трактатахъ.

Что это дѣйствительно такъ, обыкновенно показываютъ сами философы, опровергая другъ друга и доказывая, что какой-либо философскій терминъ въ различныхъ случаяхъ

1) Goethe, Faust I:

Denn eben, wo Begriffe fehlen,  
Da stellt ein Wort zur rechten Zeit sich ein.  
Mit Worten lässt sieh trefflich streiten,  
Mit Worten ein System bereiten . . .

имѣть неодинаковое значеніе. Чтобы не быть голословнымъ, я приведу только два примѣра изъ области древней философіи. Извѣстно, что Аристотель не имѣлъ понятія пространства, но временами подходилъ къ нему, смѣшивая его съ понятіемъ мѣста, занимаемаго какимъ-либо тѣломъ. Это смѣшеніе объясняется, повидимому, въ значительной мѣрѣ тѣмъ, что для обозначенія обоихъ понятій Аристотель имѣлъ одно только слово *τόπος*. Едва онъ доходилъ до понятія „пространства“, какъ обыденное значеніе слова *τόπος* снова низводило его къ понятію „мѣста“. — Другой примѣръ, болѣе наивный, я возьму изъ Цицероновыхъ Тускуланскихъ бесѣдъ <sup>1)</sup>. Въ первой бесѣдѣ — на тему „о презрѣніи къ смерти“ — Цицеронъ вынуждаетъ своего собесѣдника признать, что мертвые „должны существовать, если они несчастны“ (*Sint enim oportet, si miseri sunt*). Вся сила этого доказательства заключается въ томъ, что латинское *esse* имѣетъ два значенія: въ первомъ случаѣ (*sint*) Цицеронъ употребляетъ этотъ глаголъ въ значеніи „существовать“, а во второмъ (*sunt*) — въ значеніи связки. Въ русскомъ переводѣ вся сила доказательства пропадаетъ, такъ какъ по-русски связка опускается и въ русскомъ выраженіи „они несчастны“ нѣтъ ничего, что соотвѣтствовало бы латинскому глаголу *sunt*. Это философское доказательство сводится, слѣдовательно, къ каламбуру, который невозможно передать на русской языкъ. Здѣсь особенно ясно выступаетъ нарушение закона тождества: въ одномъ случаѣ глаголу *sunt* придается значеніе „существуютъ“, а въ другомъ — значеніе связки; хотя одно значеніе и развивается, какъ мы увидимъ, изъ другого, но они, очевидно, не совпадаютъ. Если русская пословица говорить, что „денежка покатна живетъ“, то отсюда едва-ли кто-нибудь выведетъ заключеніе, что денежка — живое существо.

Если бы проанализировать всѣ философскія системы съ этой точки зрѣнія, то, я увѣренъ, нашлось бы немало такихъ же примѣровъ. Если математика рѣзко выдѣляется изъ числа другихъ наукъ необыкновенной точностью своихъ выводовъ, то это въ значительной мѣрѣ объясняется тѣмъ, что она выработала особую систему обозначеній, почти вполнѣ

1) Cic. Tusc. disp. I. 12.

гарантирующую её отъ подобныхъ ошибокъ. Неудивительно, что и другія науки стремятся достигъ такой-же точности выводовъ; но, вынужденныя работать надъ своими объектами при помощи языка и не сознавая того, насколько уклоняется слово отъ мысли, выражаемой имъ, онѣ нерѣдко впадаютъ въ ошибки, сводящіяся къ простой игрѣ словъ <sup>1)</sup>. Чаше всего грѣшатъ въ этомъ отношеніи науки историческія, имѣющія дѣло съ древними памятниками письменности и вообще съ произведеніями человѣческаго слова. Какъ часто историки вкладываютъ въ древній терминъ современное значеніе! Чѣмъ древнѣе памятникъ, надъ которымъ мы работаемъ, тѣмъ болѣе чуждъ намъ его языкъ. Чтобы ясно, отчетливо понять этотъ памятникъ, намъ нужно разобратъся въ его языкъ. И недостаточно для этого такого знакомства съ языкомъ, которое даетъ возможность уловить общій смыслъ и связь мыслей между собою. Зачастую приходится обращаться къ разбору употребленія отдѣльныхъ словъ и цѣлыхъ выраженій и къ другимъ, даже чисто грамматическимъ вопросамъ.

Такимъ образомъ языкознаніе имѣетъ широкое практическое значеніе, но практическое не въ смыслѣ служенія матеріальнымъ удобствамъ жизни, а въ смыслѣ удовлетворенія столь же дѣйствительныхъ, какъ и матеріальныя, потребностей жизни. Вкратцѣ мы можемъ слѣдующимъ образомъ резюмировать наши выводы: 1) Языкознаніе служить дѣлу преподаванія какъ родного, такъ и всякаго другого языка. 2) Знакомство съ наукой о языкѣ, какъ о всеобщемъ орудіи мысли, важно для всякаго, кто пользуется этимъ орудіемъ. Это знакомство, давая возможность сознательно пользоваться языкомъ, можетъ предостеречь и убересть насъ отъ многихъ ошибокъ во всякой научной работѣ. Въ дальнѣйшемъ изложеніи я постоянно буду обращать вниманіе на эту практическую сторону языкознанія, чтобы показать, что въ приведенныхъ двухъ пунктахъ содержится гораздо болѣе, чѣмъ можетъ показаться съ перваго взгляда.

1) Стоитъ обратить вниманіе на то, что большинство математическихъ софизмовъ основано на двойномъ значеніи квадратнаго корня, которое даетъ возможность, при извѣстной ловкости, подсунуть одно его значеніе вмѣсто другого:  $\sqrt{a^2} = \pm a$ ; то-же нарушеніе закона тождества.

## § 1. Выясненіе термина „языкъ“.

Каждое слово въ языкѣ, какъ мы увидимъ впоследствии, имѣетъ не одно, а нѣсколько значеній <sup>1)</sup>. Поэтому, приступая къ изложенію общихъ вопросовъ языкознанія, или науки о языкѣ, мы должны прежде всего выяснитъ, въ какомъ значеніи или въ какихъ значеніяхъ мы будемъ употреблять терминъ „языкъ“.

Если мы заглянемъ въ словарь Даля, то увидимъ, что слово „языкъ“ имѣетъ очень много значеній: языкомъ называется и „мясистый снарядъ во рту, служащій для подкладки зубамъ пищи“ и для другихъ цѣлей; языкомъ же называется „желѣзный пестъ, привѣшиваемый внутри подъ шеломъ колокола, для звону“; мы говоримъ иногда о языкахъ пламени и часто называемъ языкомъ все, что по внѣшнему виду намъ напоминаетъ языкъ: лоскутъ ткани или часть невода, въ которую заходитъ рыба. Но все разнообразіе этихъ значеній слова „языкъ“ не входитъ въ область языкознанія. Мы встрѣтимся только еще съ языкомъ въ смыслѣ органа, принимающаго весьма дѣятельное участіе въ произнесеніи звуковъ человѣческой рѣчи.

Но и въ области языкознанія слово „языкъ“ имѣетъ много различныхъ значеній. Мы говоримъ о языкѣ отдѣльнаго человѣка, отдѣльнаго писателя, разумѣя подъ этимъ совокупность словъ и оборотовъ рѣчи, которые употребляетъ данное лицо. Въ томъ же смыслѣ мы говоримъ о языкѣ народа; только здѣсь мы принимаемъ во вниманіе совокупность словъ и оборотовъ, встрѣчающихся въ рѣчи значительной группы лицъ, свободно понимающихъ другъ друга: они говорятъ на одномъ языкѣ. Если мы употребляемъ слово „языкъ“ и въ еще болѣе широкомъ смыслѣ, говоря о человѣческомъ языкѣ вообще, то мы должны подъ этимъ терминомъ разумѣть нѣчто иное, такъ какъ нѣтъ ни одного языка, который бы составлялъ достояніе всѣхъ людей, и который бы всѣ понимали. Въ этомъ случаѣ

1) По поводу различныхъ значеній одного и того же слова см. очень интересную книгу К. О. Erdmann'a Die Bedeutung des Wortes. 2. Aufl. Leipzig 1910.

подъ именемъ „языкъ“ мы разумѣемъ общую всѣмъ людямъ способность рѣчи независимо отъ той формы, которою обладаетъ каждый отдѣльный языкъ.

Въ иномъ, переносномъ смыслѣ мы говоримъ иногда о языкѣ животныхъ: обезьянъ, птицъ, муравьевъ. По нѣкоторымъ чертамъ сходства мы предполагаемъ и у животныхъ нѣчто подобное человѣческой рѣчи. Такое распространеніе языка на животныхъ было бы вполне допустимо, если бы при этомъ проводилась строгая граница между языкомъ людей и животныхъ. Къ сожалѣнію, мы замѣчаемъ обратное явленіе: такъ какъ подобіе человѣческой рѣчи у животныхъ мы называемъ языкомъ, то языку вообще дается слишкомъ широкое опредѣленіе, сглаживающее различіе между языкомъ людей и животныхъ. Такъ поступаетъ напр. Вундтъ, опредѣляя языкъ, какъ „выражательныя движенія“. Съ этой точки зрѣнія „языкомъ“ называетъ Вундтъ и языкъ жестовъ, хотя мы и здѣсь имѣемъ дѣло съ такимъ же подобіемъ языка, какъ и въ языкѣ животныхъ. Иногда мы говоримъ о языкѣ музыки, языкѣ цвѣтовъ, но никому не придетъ въ голову поэтому измѣнять объемъ научнаго значенія термина „языкъ“.

Такимъ образомъ языкознаніе имѣетъ дѣло съ человѣческимъ языкомъ въ смыслѣ человѣческой рѣчи во всѣхъ тѣхъ различныхъ значеніяхъ, которыя были выше пречислены. Особыхъ терминовъ для всѣхъ этихъ значеній въ языкознаніи нѣтъ, но тѣмъ не менѣе оно должно строго различать эти значенія, чтобы не впасть въ ошибку, подставляя въ иныхъ случаяхъ одно значеніе вмѣсто другого. Мы увидимъ, что такія ошибки бывали.

## § 2. Опредѣленіе человѣческаго языка.

Опредѣлять человѣческой языкъ можно съ различныхъ точекъ зрѣнія, и каждое опредѣленіе будетъ справедливо только отчасти. Полное опредѣленіе въ сущности должно овпадать съ содержаніемъ всей науки языкознанія. Поэтому общее опредѣленіе языка должно пока ограничиться только такими признаками языка, которые устанавливаютъ его границы и исключаютъ тѣ „языки“, которые только похожи на языкъ въ собственномъ смыслѣ. Такое опредѣленіе языка

мы находимъ у Габеленца <sup>1)</sup>). „Человѣческій языкъ — говоритъ онъ — есть членораздѣльное выраженіе мысли при помощи звуковъ“. Остановимся на нѣкоторыхъ пунктахъ этого опредѣленія.

1., Говоря о „выраженіи мысли“, Габеленцъ разумѣтъ здѣсь мысль въ самомъ широкомъ смыслѣ этого слова. Языкомъ мы выражаемъ и свои впечатлѣнія, и душевныя движенія. Слѣдовательно, мы должны въ данномъ случаѣ разумѣть мысль не только въ логическомъ смыслѣ (сужденіе), но и въ психологическомъ. Далѣе мы увидимъ; что психологическое значеніе этого термина охватываетъ собою и логическое.

2., Мы такъ привыкли къ выраженію „членораздѣльный звукъ“, что даже не представляемъ себѣ, чтобы что-нибудь, кромѣ звука, могло быть членораздѣльно. Поэтому на первый взглядъ можетъ показаться страннымъ, что Габеленцъ говоритъ о „членораздѣльномъ“ выраженіи мысли при помощи звуковъ“, а не о выраженіи мысли при помощи членораздѣльныхъ звуковъ. Но это вовсе не случайно. Поэтому намъ нужно остановиться на вопросѣ о томъ, что такое членораздѣльность.

Буслаевъ въ своей „Исторической грамматикѣ русскаго языка“ (§ 20) говоритъ о членораздѣльности звуковъ слѣдующее: „Звуки человѣческой рѣчи отличаются отъ крика животныхъ, отъ пѣнья птицъ и вообще отъ всякаго звука въ окружающей природѣ, особеннымъ свойствомъ, извѣстнымъ подъ именемъ членораздѣльности. Звуки, составляющіе языкъ, называются членораздѣльными потому, что могутъ раздѣляться на члены или мельчайшія части, извѣстныя подъ именемъ звуковъ гласныхъ и согласныхъ. Такъ напр. въ словѣ громъ, собственно слышится одинъ звукъ, произнесенный мгновенно; однако этотъ одинъ звукъ можемъ раздѣлить на его простѣйшія, уже недѣлимыя составныя части, т. е. членораздѣльные звуки г, р, о, м,“. Отсюда видно, что подъ „звуками, составляющими языкъ“ Буслаевъ разумѣтъ слова или, по крайней мѣрѣ, слоги, которые по его мнѣнію произносятся „мгновенно“, а подъ членораздѣльными звуками то, что обыкновенно называется просто звуками и „означается въ азбукѣ особымъ начертаніемъ“ (§ 21).

1) G. v. d. Gabelentz. Die Sprachwissenschaft<sup>2</sup> S. 3.

Мы увидимъ однако, что Буслаевъ ошибается, приписывая „членораздѣльнымъ звукамъ“ недѣлимость: они могутъ тоже разлагаться. Но это пока для насъ не важно. Гораздо важнѣе другая непослѣдовательность: Буслаевъ опредѣляетъ членораздѣльность звуковъ, какъ способность „раздѣляться на члены, или мельчайшія части“ и называетъ членораздѣльными звуками „недѣлимая составныя части“ звука. Оказывается, слѣдовательно, что звукъ долженъ быть дѣлимъ, чтобы обладать членораздѣльностью, и недѣлимъ, чтобы быть членораздѣльнымъ. Эта непослѣдовательность показываетъ, что самое понятіе членораздѣльности неясно. Дѣйствительно, членораздѣльность можно понять только, какъ расчленіе, раздѣленіе; но въ такомъ случаѣ членораздѣльность должна быть приписана не отдѣльнымъ звукамъ, что ведетъ, какъ видимъ, къ путаницѣ, а звуковому составу рѣчи вообще. Въ этомъ смыслѣ, очевидно, понимаетъ членораздѣльность и Буслаевъ; только выражено это у него крайне неудачно.

Въ тѣхъ же словахъ Буслаева выражень и другой ходячій взглядъ, будто членораздѣльность звуковъ составляетъ исключительное свойство человѣческаго языка. Несомнѣнно, что звуки, издаваемые другими животными никогда не достигаютъ такой степени членораздѣльности: ни у одного животного, кромѣ человѣка, мы не найдемъ такого большого количества и такого разнообразія звуковъ. Но невозможно утверждать, что звуки, издаваемые другими животными, нечленораздѣльны. Блеяніе овцы уже давно довольно точно передается даже на письмѣ буквами (бэ, въ греч. βῆ); въ мычаніи коровы всѣ находятъ звукъ м, и если трудно утверждать, что слѣдующій гласный непременно — у, то это не должно насъ смущать; вспомнимъ, что и въ русскомъ языкѣ существуетъ цѣлый рядъ звуковъ, которые трудно точно передать на письмѣ. Говорящія птицы, напр. попугаи, какъ извѣстно, способны произносить цѣлыя слова и даже фразы и при томъ настолько ясно, что рѣшительно нельзя отрицать значительной гибкости ихъ органовъ произношенія.

Если, такимъ образомъ, не подлежитъ сомнѣнію, что и животныя обладаютъ нѣкоторыми звуками, существующими и въ человѣческомъ языкѣ, то изъ этого мы можемъ заключить, что и они произносятъ эти звуки подобно тому, какъ

произносить ихъ человѣкъ. Слѣдовательно, членораздѣльность звукового состава рѣчи не можетъ быть признана спеціальнымъ признакомъ человѣческаго языка.

Такъ какъ эти факты были давно извѣстны, и нельзя было не замѣтить, что они говорятъ противъ членораздѣльности, какъ признака спеціально человѣческой рѣчи; то нужно поискать причины, почему же всетаки это мнѣніе такъ упорно держалось и даже держится до сихъ поръ. Причина этого заключается въ томъ, что въ членораздѣльности видѣли не только особую гибкость человѣческихъ органовъ рѣчи, но и особенную способность ума, отличающую человѣка отъ другихъ животныхъ. Членораздѣльность, какъ способность ума, не можетъ заключаться въ звукахъ, и Габеленць совершенно справедливо отмѣчаетъ въ человѣческой рѣчи другую членораздѣльность, именно членораздѣльность выраженія мысли.

И животное часто звукомъ выражаетъ свои ощущенія: нерѣдко существуетъ у животнаго нѣсколько звуковъ, выражающихъ различныя впечатлѣнія. И эти звуки понимаютъ не только животныя, но и люди. Мы узнаемъ по лаю собаки, радуется ли она, сердится или испугана; опытные охотники узнаютъ по лаю гончихъ, гонять ли онѣ зайца, лисицу или волка. Но эти звуки животныхъ выражаютъ ихъ впечатлѣнія безъ всякаго анализа, нечленораздѣльно. Мѣжду тѣмъ въ человѣческой рѣчи мысль или впечатлѣніе являются разложенными на части, анализированными, и отдѣльныя части оказываются поставленными въ извѣстныя отношенія другъ къ другу. Даже самое простое выраженіе въ языкѣ обыкновенно состоитъ по крайней мѣрѣ изъ двухъ частей; такъ напр. въ выраженіи „трава зеленѣетъ“ зеленый цвѣтъ отдѣленъ отъ травы и представленъ какъ бы производимымъ самою травою. Этого анализа впечатлѣній въ звукахъ животныхъ мы не наблюдаемъ: онѣ является существеннымъ признакомъ человѣческаго языка. Въ этомъ и заключается членораздѣльность выраженія мысли въ языкѣ.

Но и въ человѣческомъ языкѣ встрѣчаются нечленораздѣльныя выраженія впечатлѣній: это — междометія. Междометія выражаютъ неанализированныя впечатлѣнія, и потому такъ трудно передать или объяснить значеніе такихъ словъ, какъ „ай“, „ой“, „охъ“ и т. п. Мы можемъ только

сказать, что междометія обыкновенно указываютъ на сильное и внезапное душевное движеніе, но далеко не всегда мы можемъ опредѣлить, какого рода впечатлѣніе кроется за этимъ звукомъ. Такъ какъ звуки животныхъ отличаются тою же неопредѣленностью, нерасчлененностью, то и ихъ мы могли бы назвать междометіями. Можно сказать, что животныя въ выраженіи своихъ впечатлѣній не пошли дальше междометій, между тѣмъ какъ въ человѣческой рѣчи междометія не представляютъ ничего существеннаго и могутъ быть разсматриваемы, какъ остатки того состоянія, когда и человѣкъ издавалъ только нечленораздѣльныя восклицанія. Въ человѣческомъ языкѣ междометія обыкновенно поясняются словами: „ахъ, какъ я радъ!“, „ахъ, какъ мнѣ скучно!“ и т. д.

Такимъ образомъ мы видимъ, что человѣческая мысль лишь тогда находитъ выраженіе въ языкѣ, когда она достигнетъ извѣстной степени ясности, благодаря аналитической работѣ ума. Этотъ анализъ и закрѣпляется въ формѣ членораздѣльнаго выраженія мысли при помощи звуковъ.

3. Наконецъ, обратимъ вниманіе на послѣднія слова опредѣленія человѣческаго языка. Мы говоримъ о выраженіи мысли при помощи звуковъ, потому что кромѣ звуковъ существуютъ и другіе знаки, способные въ той или другой мѣрѣ выражать наши мысли и впечатлѣнія. Жесты и миимику можно развить до такой степени, чтобы при ихъ помощи передавать довольно сложныя мысли. Поэтому иногда говорятъ о языкѣ жестовъ. Но, какъ мы видѣли, это только фигуральное выраженіе, и по существу своему языкъ жестовъ отличается тою же нерасчлененностью, какъ и звуки животныхъ. Интересныя свѣдѣнія по этому вопросу можно почерпнуть изъ наблюдений надъ языкомъ глухонѣмыхъ<sup>1)</sup>. Лишенные возможности пользоваться звукомъ для выраженія своихъ мыслей, глухонѣмые могутъ пользоваться для этой цѣли только жестами, т. е. разнообразными движеніями главнымъ образомъ рукъ и пальцевъ. Для того, чтобы движенія эти были понятны, необходимо стараться передать движеніемъ по возможности точно внѣшнюю форму предмета, который

См. H. Steinthal. Ueber die Sprache der Taubstummen. Gesammelte kleine Schriften, I. S. 21—45. Berlin 1880.

нужно обозначить. Понятно, что движениа слишком блѣдны для этой цѣли, и потому приходится часто, чтобы указать на опредѣленный предмет, вмѣстѣ съ тѣмъ описывать и его обстановку. Такъ напримѣръ, чтобы обозначить яблоко, глухонѣмой дѣлаетъ движеніе, какъ будто онъ хочетъ уку- сить свой кулакъ, и при этомъ старается возбудить представ- леніе дерева, показывая, какъ его трясутъ, чтобы съ него упало яблоко. Этотъ примѣръ показываетъ, насколько языкъ жестовъ неспособенъ къ той членораздѣльности, о которой мы только что говорили. Вмѣсто того, чтобы давать воз- можность анализировать мысль, онъ заставляетъ нагромож- дать цѣлый рядъ картинъ, которыя только затрудняютъ дѣло анализа. Кромѣ того жестъ совершенно не можетъ выразить множества отвлеченныхъ понятій, и потому глухонѣмые само- стоятельно не могутъ дойти до такихъ понятій, какъ „могу, долженъ, быть“. Съ большимъ трудомъ они доходятъ до понятій „хорошій, злой“ и т. под.

Насколько недостаточенъ языкъ жестовъ для выраженія и развитія мыслей, видно уже изъ того, что развитіе глухо- нѣмыхъ только тогда подвигается значительно впередъ, когда они либо выучиваются языку звуковъ при помощи особаго алфавита, гдѣ каждая буква обозначается опредѣленнымъ движеніемъ пальцевъ, либо научаются говорить и понимать по движенію губъ нормально говорящихъ людей. Но даже и въ этомъ случаѣ глухонѣмые значительно отстаютъ въ своемъ развитіи отъ нормальныхъ людей. Самъ Вундтъ признаетъ, что скудные признаки развитія языка жестовъ стоятъ въ зависимости отъ развитія звукового языка.

Такимъ образомъ изъ всего этого видно, что только въ звукахъ находитъ человѣческая мысль наиболѣе со- вершенное выраженіе, а потому только звуковой языкъ мы будемъ называть языкомъ въ собственномъ смыслѣ этого слова.

### § 3. Грамматика и логика.

Мы опредѣлили языкъ, какъ членораздѣльное выра- женіе мысли при помощи звуковъ. Это опредѣленіе ведетъ насъ къ вопросу объ отношеніи языка къ мысли. Съ раз- бора этого вопроса лучше всего начать изложеніе науки о языкѣ, такъ какъ при этомъ удобнѣе всего выяснить и от-

ношеніе нашей науки къ другимъ областямъ знанія, съ которыми она ближе всего соприкасается.

Прежде всего намъ нужно разрушить одинъ предразсудокъ, который и до сихъ поръ продолжаетъ существовать въ особенности въ школьной грамматикѣ. Это — объясненіе явленій языка логикой.

Въ основаніи этого предразсудка лежитъ слѣдующее разсужденіе: логика есть наука о мышленіи; мысль выражается языкомъ; слѣдовательно, въ языкѣ должны отражаться законы логики. Тѣсная связь языка съ мыслью только поддерживала это мнѣніе. Если трудно себѣ представить мысль безъ слова, точно такъ же какъ и слово безъ мысли, то мы приходимъ какъ бы къ полному совпаденію языка съ мыслью, а отсюда уже недалеко и до отождествленія законовъ языка съ законами логики. Конечно, въ такой оголенной формѣ это теченіе мыслей нигдѣ не высказывается, такъ какъ въ такомъ случаѣ ничего бы не осталось на долю грамматики, а разница между грамматикой и логикой ощущалась слишкомъ сильно. Но эти отступленія грамматики отъ логики объяснялись требованіями формы выраженія мысли.

Какъ типичнаго представителя логическаго направленія грамматики мы возьмемъ Буслаева. Въ своемъ введеніи къ синтаксису (Историческая грамматика русскаго языка §§ 106—118) онъ говоритъ: „Языкъ служитъ намъ для взаимной передачи мыслей, т. е. представленій, понятій и сужденій. Поэтому должно знать: 1) что есть представленіе, понятіе и сужденіе и 2) какъ выражаются они въ словѣ для взаимнаго сообщенія мыслей между говорящими. Свѣдѣнія о первомъ предметѣ заимствуются изъ науки о мышленіи, или изъ Логики; свѣдѣнія же о второмъ собственно принадлежатъ Грамматикѣ и касаются того, чѣмъ языкъ отличается отъ мышленія и Грамматика отъ Логики“. Поэтому далѣе Буслаевъ даетъ краткія свѣдѣнія по логикѣ и затѣмъ продолжаетъ (§ 115, 1): „Языкъ есть выраженіе мысли помощью членораздѣльныхъ звуковъ: потому, сверхъ законовъ мысли, опредѣляемыхъ въ логикѣ, подчиняется онъ еще законамъ самаго выраженія, т. е. законамъ сочетанія членораздѣльныхъ звуковъ“ . . . „Самое сочетаніе членораздѣльныхъ звуковъ, подчиняясь своимъ собственнымъ звуковымъ законамъ, весьма часто требуетъ уступокъ со стороны законовъ

Логики“ (Приводится примѣръ изъ области согласованія словъ) . . . „Слѣдуя своимъ собственнымъ законамъ при выраженіи мысли, языкъ иногда становится въ видимое противорѣчіе съ законами Логики“ (Опять приводится примѣръ изъ области согласованія) . . . „Каждый языкъ пользуется своими собственными средствами для выраженія мысли, усвоивая себѣ особенный, только ему одному свойственный, складъ рѣчи, въ которомъ онъ значительно видоизмѣняетъ общіе всѣмъ языкамъ, основные законы логическіе“. (Какъ примѣръ, приводятся различныя выраженія понятія сходства въ русск. „лиса походитъ на собаку“ и нѣмецкомъ „der Fuchs ist einem Hunde ähnlich“).

Я привелъ эти выдержки изъ Грамматики Буслаева, чтобы на нихъ показать всю неосновательность такого логическаго взгляда на языкъ. По словемъ Буслаева оказывается, что, хотя языкъ и имѣетъ въ своей основѣ логику, тѣмъ не менѣе онъ „требуется уступокъ со стороны законовъ логики“, „становится въ видимое противорѣчіе“ съ ними и даже „значительно видоизмѣняетъ . . . основные законы логическіе“. Но, вѣдь, логика не можетъ сдѣлать языку никакой уступки и не можетъ допустить ни малѣйшаго видоизмѣненія своихъ законовъ. Что же осталось бы отъ законовъ логики, если бы каждый языкъ въ угоду своему „складу рѣчи“ сталъ требовать измѣненія логическихъ законовъ? Не выигралъ бы отъ этого ни одинъ языкъ, такъ какъ люди, говорящіе на немъ, утратили бы способность логически мыслить, постоянно нарушая законы логики; да и логика потеряла бы всякое значеніе, превратившись въ простую игрушку.

Но, къ счастью, этого нѣтъ, и уже изъ примѣровъ, приведенныхъ Буслаевымъ видно, что грамматика не оказываетъ на логику такого вліянія. Дѣйствительно, два примѣра, приводимые имъ, взяты изъ области согласованія, а третій указываетъ различныя конструкціи словъ, обозначающихъ сходство. Но гдѣ же здѣсь нарушеніе или видоизмѣненіе законовъ логики? Развѣ логика учитъ правиламъ согласованія? Развѣ она указываетъ, какой падежъ долженъ стоять при словахъ, обозначающихъ сходство? Нѣтъ. Логика этихъ вопросовъ и не касается вовсе. Слѣдовательно, если въ приведенныхъ примѣрахъ есть нарушеніе какихъ либо законовъ, то эти законы могутъ быть только грамматическими,

такъ какъ и вопросы согласованія и вопросы сочетанія словъ разсматриваются въ грамматикѣ; а потому эти примѣры могутъ показывать только, что грамматическія правила бываютъ различны. Такимъ образомъ уже этотъ краткій разборъ вскрываетъ въ логическомъ взглядѣ на языкъ цѣлый рядъ противорѣчій. Естественно является сомнѣніе въ справедливости основного взгляда на логику, какъ на основу языка. Поэтому мы должны нѣсколько подробнѣе разобрать этотъ вопросъ и выяснитъ отношеніе грамматики, какъ науки о формѣ языка, къ логикѣ, какъ наукѣ о мысли.

Вопросъ этотъ былъ разобранъ подробно еще въ 1855 г. Штейнталемъ въ его книгѣ „Грамматика, логика и психологія. Ихъ принципы и отношеніе другъ къ другу“<sup>1)</sup>. Мысли, высказанныя впервые Штейнталемъ, нашли всеобщее признаніе, и его книга не утратила своего значенія и до настоящаго времени, особенно въ виду того, что старые взгляды продолжаютъ еще существовать, внося, какъ мы видѣли, нѣкоторую путаницу въ науку о языкѣ.

Логика разсматриваетъ законы нашего мышленія. Она не задается вопросомъ, откуда и какъ возникла наша мысль. Она беретъ мысль уже готовою и разбираетъ, правильна ли она сама по себѣ или нѣтъ. При этомъ логика не интересуется и самымъ содержаніемъ мысли: ей безразлично, изъ какой сферы нашего знанія взята данная мысль. Она разсматриваетъ только форму мысли и разбираетъ, какія условія должны быть соблюдены, чтобы въ ней не было внутреннихъ противорѣчій. Возьмемъ для примѣра логическій законъ тождества. Онъ требуетъ, чтобы какое-либо понятіе А всегда оставалось равнымъ самому себѣ, чтобы мы ничего не прибавляли къ его содержанію и ничего не отнимали отъ него. Но логикѣ все равно, какое это будетъ понятіе, будетъ ли оно взято изъ области зоологіи, ботаники, химіи, физики или какой-либо другой науки. Законы логики одинаково приложимы ко всѣмъ областямъ знанія, такъ какъ они касаются только формальной стороны нашей мысли, почему и сама логика носить названіе формальной.

Но вѣдь и языкъ есть форма нашей мысли. Не со-

1) H. Steinthal. Grammatik, Logik und Psychologie, ihre Principien und ihr Verhältniß zu einander. Berlin 1855.

впадаетъ ли логическая форма мысли съ тою формою мысли, въ которую облакаетъ её языкъ? Отвѣтъ на этотъ вопросъ долженъ быть отрицательный, и намъ необходимо показать, насколько эти двѣ формы различны.

Прежде всего нужно обратить вниманіе на то, что языкъ звуками выражаетъ наши мысли, а логика разсматриваетъ форму мысли независимо отъ ея звукового выраженія. Правда, наши мысли всегда по необходимости облакаются въ форму слова, но на эту форму логика смотритъ какъ на неизбѣжное зло, и ею вовсе не занимается. Сказать ли „трава зеленѣетъ“ или „трава имѣетъ зеленый цвѣтъ“ или „трава — зелена“, — для логики въ этихъ трехъ предложеніяхъ нѣтъ никакой разницы: всѣ они одинаково соединяютъ представленіе „травы“ съ представленіемъ „зеленаго цвѣта“. Но наука о языкѣ къ этому относится совершенно иначе. То, что для логики — безразлично, то для языкознанія — крайне важно. Если логика въ этихъ трехъ предложеніяхъ находитъ только одно сужденіе, то языкознаніе не можетъ ихъ отождествлять, именно потому, что словесная форма ихъ различна.

Но можно было бы объяснять несовершенствомъ логики то обстоятельство, что она не дѣлаетъ различія между такими отѣнками выраженія мысли, какъ тѣ, которые я иллюстрировалъ приведенными выше примѣрами. Въдѣ логическое сужденіе непремѣнно выражается словомъ. Если наше мышленіе всегда сопровождается рѣчью, то не указываетъ ли это обстоятельство на тождество того и другого? Дѣйстви-тельно, отдѣлить процессъ мысли отъ процесса рѣчи намъ очень трудно. Если намъ кажется иногда, что мы думаемъ безъ словъ, то это не совсѣмъ справедливо: отсутствуетъ въ такомъ случаѣ только самый звукъ, но наши органы рѣчи обыкновенно продѣлываютъ при этомъ, только гораздо бы-стрѣе, все то, что требуется для произнесенія соотвѣствующихъ словъ. Такимъ образомъ не подлежитъ сомнѣнію, что мысль всегда сопровождается словомъ, всегда опирается на него. На практикѣ отдѣлить свою мысль отъ слова намъ, поэтому, невозможно.

Для доказательства того, что мысль и рѣчь не совпадаютъ, мы должны подыскать такіе случаи, когда самое словесное выраженіе мысли даетъ возможность отдѣлить отъ него мысль. Такіе случаи бываютъ. Такъ на примѣръ, когда

мы имѣемъ возможность употребить два выраженія въ одномъ и томъ же смыслѣ, то уже самая эта возможность доказываетъ отдѣлимость нашей мысли отъ слова, доказываетъ, что мысль и языкъ не совпадаютъ. Мало того, человѣкъ обладаетъ способностью усваивать чуждый ему языкъ и на немъ выражать свои мысли, и это обстоятельство показываетъ, что человѣкъ можетъ отрѣшиться отъ привычной словесной формы своихъ мыслей и усвоить другую форму, хотя тоже словесную, но первоначально вовсе не связанную съ его мыслями. Наконецъ глухонѣмые, не имѣя возможности пользоваться языкомъ, тѣмъ не менѣе мыслятъ, какъ бы ни была слаба ихъ мысль; а потому на ихъ примѣрѣ мы яснѣе всего видимъ, что мысль и языкъ не тождественны.

То, что мы называемъ логическою формою мысли, тоже не совпадаетъ съ тою формою мысли, въ которую её облакаетъ языкъ, и которую мы называемъ грамматическою формою. Чтобы убѣдиться въ этомъ, сравнимъ логическія категоріи съ тѣми грамматическими категоріями, которыя признаются обычно соотвѣтствующими другъ другу.

1) Слово и понятіе. Сравнимъ прежде всего слово и понятіе: они далеко не совпадаютъ. Это видно изъ того, что одно и то-же слово можетъ обозначать въ различныя времена и въ одно и то же время у различныхъ лицъ — различныя понятія. Такъ напр. слово „солнце“ у деревнѣхъ обозначало божество, которое свѣтитъ и оживляетъ все существующее; а съ развитіемъ знаній оно же стало обозначать особое небесное тѣло, въ которомъ мы открываемъ даже присутствіе извѣстныхъ химическихъ элементовъ, и для насъ понятіе „солнце“ настолько расширилось, что въ астрономіи мы говоримъ уже не объ одномъ солнцѣ, а о безчисленномъ множествѣ солнцъ, что показалось бы совершенной нелѣпостью хотя бы напр. современному крестьянину. Изъ этого мы видимъ, что слово не тождественно съ понятіемъ: оно есть только знакъ понятія, символъ, которымъ мысль пользуется для облегченія своей работы, точно такъ же, какъ математика пользуется своими символами для тѣхъ же цѣлей.

Если бы понятіе совпадало со словомъ, то каждому понятію въ языкѣ соотвѣтствовало бы только одно слово, и невозможно было-бы существованіе синонимовъ, т. е. нѣсколькихъ словъ, обозначающихъ то же понятіе; а между

тѣмъ мы не знаемъ языка, въ которомъ бы синонимовъ не встрѣчалось.

Далѣе, мы часто встрѣчаемъ въ языкѣ отрицательныя слова, которыя обозначаютъ положительныя понятія, и наоборотъ, отрицательныя понятія выражаются нерѣдко словами, неимѣющими отрицательной формы. Такъ напр., недурной (отрицательное слово) значитъ „хорошій, красивый“ (понятіе положительное); а глухой, слѣпой (слова, неимѣющія отрицательной формы) означаютъ „неимѣющій слуха, — зрѣнія“. Такое несоотвѣтствіе было-бы невозможно, если бы слово совпадало съ понятіемъ.

2) Предложеніе и сужденіе. Уже изъ того обстоятельства, что слово не совпадаетъ съ понятіемъ, можно заключить, что и предложеніе не совпадаетъ съ сужденіемъ. Но здѣсь это несоотвѣтствіе выступаетъ еще яснѣе. Одно сужденіе можетъ быть выражено двумя или нѣсколькими предложеніями, и наоборотъ въ одномъ предложеніи можетъ заключаться нѣсколько сужденій. Напр. сужденіе „дождь бываетъ при западномъ вѣтрѣ“ можетъ быть выражено и двумя предложеніями „дождь бываетъ тогда, когда вѣтеръ дуетъ съ запада“. Нѣкоторые виды сужденій даже трудно выразить однимъ предложеніемъ: таковы сужденія гипотетическія, или условныя и раздѣлительныя. Гипотетическія сужденія обыкновенно выражаются условными періодами, слѣдовательно соединеніемъ двухъ предложеній — главнаго и придаточнаго условнаго.

Есть цѣлый рядъ видовъ предложеній, которымъ нельзя подыскать соотвѣтствующихъ видовъ сужденій. Такъ напр. грамматика знаетъ предложенія вопросительныя, желательныя, повелительныя, мѣжду тѣмъ какъ логика не знаетъ соотвѣтствующихъ сужденій, да ихъ и не можетъ быть по существу. Точно также логика не знаетъ ничего такого, что бы можно было поставить въ соотвѣтствіе съ граматическимъ дѣленіемъ предложеній на главныя и придаточныя.

3) Части предложенія и элементы сужденія. Логика различаетъ во всякомъ сужденіи двѣ части: субъектъ и предикатъ, и дальше этого дѣленія на-двое логика не идетъ и не можетъ идти. Отсюда новое несоотвѣтствіе съ грамматикой, которая отличаетъ въ предложеніи кромѣ подлежащаго и сказуемаго еще опредѣленіе, дополненіе и об-

стоятельство. Соотвѣтствующихъ категорій въ логикѣ не существуетъ. Два различныя понятія, какъ „столъ“ и „круглый столъ“ въ сужденіи представляются одинаково цѣльными, не смотря на то, что первое выражено однимъ существительнымъ, а второе существительнымъ съ опредѣленіемъ.

Мало того, даже грамматическое подлежащее и грамматическое сказуемое далеко не всегда соотвѣтствуютъ логическому субъекту и предикату. Такъ напримѣръ, въ сужденіи „топоромъ рубятъ“ съ логической точки зрѣнія субъектомъ служить понятіе „топоръ“, несмотря на то, что грамматически это — дополненіе, выраженное творительнымъ падежомъ. Съ грамматической же точки зрѣнія въ этомъ предложеніи повсѣ нѣтъ подлежащаго.

4) Одночленные предложенія. Несоотвѣтствие между грамматикой и логикой выражается еще и въ томъ обстоятельствѣ, что въ языкѣ существуютъ одночленные предложенія, между тѣмъ какъ логика не знаетъ одночленныхъ сужденій. Къ такимъ одночленнымъ предложеніямъ относятся, напримѣръ, предложенія безличныя, какъ „смеркается“, „свѣтаетъ“, „прогромыхиваетъ“ и т. п. Если логика можетъ признать ихъ сужденіями, то она по необходимости должна разсматривать ихъ, какъ двухчленные, т. е. должна предварительно разложить ихъ на два понятія, изъ которыхъ одно должно представлять логическій субъектъ, а другое — логическій предикатъ. Но въ большинствѣ случаевъ такія предложенія отличаются именно своею неразложимостью, тѣмъ, что въ нихъ подлежащее не отдѣлено отъ сказуемаго, дѣйствіе не отдѣлено отъ его носителя, отъ причины, его вызывающей; а потому съ логической точки зрѣнія это не сужденія, а только выраженія смутныхъ, еще не разложенныхъ, не анализированныхъ впечатлѣній.

Различіе между логикой и грамматикой можно было бы иллюстрировать еще и многими другими примѣрами, но и сказаннаго вполне достаточно для нашей цѣли. Изъ сравненія грамматики съ логикой видно, что различіе между ними нельзя объяснять уступками, которыя логика дѣлаетъ языку, или видоизмѣненіями логическихъ законовъ подъ вліяніемъ своеобразнаго строя языка. Различіе это идетъ гораздо глубже: оно сказывается во всѣхъ подробностяхъ грамматическихъ и логическихъ формъ мысли. Отсюда ясно что ло-

гика не можетъ объяснить природу языка. Мало того, мы не можемъ признать логику приложимой къ объясненію даже тѣхъ явленій языка, которыя на первый взглядъ такое объясненіе допускаютъ. Мы видѣли, что логика по существу своему не имѣетъ съ грамматикой никакихъ точекъ соприкосновенія; слѣдовательно, даже въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ грамматика близко подходитъ къ логикѣ, совпаденіе можетъ быть только случайнымъ. Логика для всѣхъ людей только одна, а языковъ — множество, и каждый изъ нихъ имѣетъ свою грамматику; слѣдовательно, если бы логика могла объяснить явленія языка, то такой языкъ могъ бы быть только одинъ. Но она не можетъ объяснить ни одного языка, слѣдовательно объясненія явленій языка нельзя искать въ логикѣ.

Вообще, неудивительно, что логическое толкованіе языка оказалось несостоятельнымъ: оно допустило крупную методологическую ошибку. Чтобы объяснить какое-бы то ни было явленіе, мы должны его изслѣдовать, должны въ немъ самомъ искать указаній на причины, его вызывающія и обуславливающія. Если мы вмѣсто такого пути изслѣдованія предположимъ для даннаго явленія какую либо причину, которая покажется намъ наиболѣе вѣроятной, и изъ нея станемъ это явленіе объяснять, то мы почти навѣрное впадемъ въ ошибку. Только случайно наше объясненіе можетъ оказаться правильнымъ. Въ изслѣдованіи явленій мы всегда должны отъ извѣстнаго заключать къ неизвѣстному, а не наоборотъ. Точно такъ же мы должны изслѣдовать и явленія языка. Современное языкознаніе обязано своими успѣхами имѣнно тому, что оно строго держалось этого принципа. Только внимательное изученіе явленій языка дало возможность вскрыть тѣ силы, которыя дѣйствуютъ во всякомъ языкѣ, созидаютъ его и поддерживаютъ его существованіе.

#### § 4. Языкъ дѣятельность.

Такимъ образомъ, чтобы вскрыть истинную природу языка, мы должны обратиться къ нему самому и изучить дѣйствующія въ немъ силы.

Прежде всего обратимъ вниманіе на то различіе, какое мы дѣлаемъ между языками мертвыми и живыми. Мертвыми мы называемъ тѣ языки, на которыхъ въ настоящее

время уже не говорятъ, и противупологаемъ ихъ дѣйствующимъ языкамъ, которые мы называемъ живыми. Но это различіе не проводится строго: мы не называемъ мертвымъ языкомъ, напр., русскій языкъ XIV вѣка, хотя на немъ тоже уже не говорятъ. Подъ мертвыми языками мы разумѣемъ, слѣдовательно, такіе языки, которые перестали служить орудіемъ общенія людей между собою и стали вполнѣ непонятными безъ предварительнаго изученія. Выраженія „мертвый“ и „живой“ языкъ нельзя отнести къ научнымъ терминамъ, а потому нѣтъ надобности устанавливать особенно точно ихъ значеніе. Гораздо важнѣе обратить вниманіе на совершенно вѣрную мысль, лежащую въ основѣ этихъ метафорическихъ выраженій. Живымъ языкомъ мы можемъ назвать только такой языкъ, который служитъ общенію людей, который находится въ употребленіи. Языкъ можетъ жить только въ устахъ людей. Живъ тотъ языкъ, который переходитъ изъ устъ въ уста, и живо въ языкѣ только то, что поддерживается живою рѣчью. Что вышло изъ живого употребленія, то умерло и не можетъ вернуться къ жизни. Языкъ не представляетъ изъ себя чего-либо неподвижнаго, даннаго, неизмѣннаго; онъ есть непрерывная дѣятельность, и съ прекращеніемъ этой дѣятельности прекращается и существованіе языка. Мертво въ языкѣ все то, что не поддерживается наличной дѣятельностью рѣчи. Умираютъ слова, выходящія изъ употребленія, умираютъ обороты, умираютъ формы. Но, если при этомъ языкъ продолжаетъ существовать, то этому процессу постояннаго умиранія соотвѣтствуетъ и процессъ постояннаго возрожденія языка: на мѣсто отжившихъ формъ, словъ и оборотовъ являются новые живые элементы языка.

Для правильнаго пониманія природы языка очень важно постоянно помнить это его свойство. Во многихъ случаяхъ только эта точка зрѣнія на языкъ, какъ на дѣятельность, даетъ возможность правильно истолковать явленія языка. Между тѣмъ есть не мало такихъ обстоятельствъ, которыя заставляютъ насъ забывать объ этомъ. Чтобы остановить свое вниманіе на какомъ-нибудь явленіи языка, мы естественно вырываемъ его изъ живой рѣчи и такъ или иначе его закрѣпляемъ. Мы не замѣчаемъ при этомъ, что такое закрѣпленіе живого факта равносильно его умерщвленію. Мы рассматриваемъ такимъ образомъ уже не живое явленіе,

а мертвый препаратъ, принимая его за явленіе языка. Если взятый нами фактъ есть явленіе нашего родного языка, то мы имѣемъ еще возможность его оживить, повторяя его и воспроизводя всѣ условія его дѣйствительнаго существованія; но если мы разбираемъ какое-либо явленіе мертваго языка, сохраненнаго намъ только нѣмыми памятниками, то оживить вполне это явленіе мы не въ состояніи. Однако и въ такомъ случаѣ мы должны всячески стараться возможно полно воспроизвести условія дѣйствительной жизни такого мертваго языка, начиная съ произношенія отдѣльныхъ звуковъ, интонаціи словъ и кончая самыми тонкими оттѣнками значенія синтаксическихъ сочетаній. Понятно, насколько трудно такое оживленіе: оно никогда не можетъ быть полнымъ.

Самое закрѣпленіе фактовъ языка на письмѣ ведетъ къ тому же взгляду на языкъ, какъ на нѣчто неподвижное. Мы изучаемъ языкъ, главнымъ образомъ опираясь на письменность его, и нерѣдко требуемъ прочныхъ и опредѣленныхъ грамматическихъ правилъ даннаго языка; слѣдовательно, смотримъ на языкъ не какъ на живую дѣятельность, а какъ на неподвижный фактъ. Только постоянное нарушеніе живою рѣчью устанавливаемыхъ правилъ напоминаетъ намъ о томъ, что языкъ живетъ, что онъ не можетъ мириться съ тѣми рамками, которыя искусственно хотятъ ему навязать: изученіе языка никогда не можетъ поспѣть за его движеніемъ и только для мертвыхъ языковъ могутъ быть установлены твердыя грамматическія правила.

Живой языкъ мы не можемъ также себѣ представить внѣ человѣческаго общенія. Непрерывная дѣятельность, лежащая въ основѣ языка, есть дѣятельность общественная: говорящій предполагаетъ слушающаго, облекающій свои мысли въ форму слова предполагаетъ другого, который умѣетъ толковать словесную форму, понимать смыслъ рѣчи. Обѣ эти стороны языка стоятъ во взаимной зависимости другъ отъ друга.

## § 5. Языкъ и звуки животныхъ.

Чтобы лучше уяснить себѣ особенности человѣческаго языка, мы начнемъ со сравненія его съ такъ называемымъ „языкомъ животныхъ“, или вѣрнѣе, со звуками, издаваемыми

животными. Такое сравненіе дастъ намъ возможность провести болѣе опредѣленную границу человѣческаго языка со стороны зоологической: мы увидимъ съ одной стороны, чего нехватало животнымъ для развитія языка, съ другой стороны выяснятся особенности человѣческой рѣчи, отличающія еѣ отъ звуковъ животныхъ.

Мы видѣли, что и животныя пользуются звуками для выраженія своихъ впечатлѣній. Нерѣдко при этомъ различіе звуковъ соотвѣтствуетъ и различію впечатлѣній. Обыкновенно говорятъ, что животныя пользуются своими звуками и инстинктивно, т. е. безъ контроля разума. Дѣйствительно, звукъ у животныхъ часто является непосредственнымъ отраженіемъ извѣстнаго впечатлѣнія. Такое непосредственное отраженіе на языкѣ физиологіи называется рефлексомъ. Подъ этимъ терминомъ разумѣютъ различнаго рода движенія, происходящія подъ вліяніемъ внѣшняго раздраженія. Суженіе зрачка подъ вліяніемъ сильнаго свѣта, закрытіе вѣкъ отъ попавшаго въ глазъ посторонняго тѣла, кашель, чиханіе и т. п. — все это рефлекторныя или рефлексивныя движенія. Такимъ рефлексивнымъ характеромъ отличаются обыкновенно и звуки животныхъ. Между извѣстнаго рода раздраженіемъ чувствъ, извѣстнымъ впечатлѣніемъ и звукомъ существуетъ у животныхъ настолько постоянная и неизмѣнная зависимость, что всегда при тѣхъ же условіяхъ у даннаго вида животныхъ возникаетъ одинъ и тотъ-же звукъ. Собака всегда и вездѣ лаетъ, визжитъ или воетъ и этимъ звукамъ она не выучивается отъ другихъ собакъ, а обладаетъ ими, какъ говорятъ, отъ природы.

Сравнивая эти звуки со звуками человѣческой рѣчи, находили, что человѣческое слово отличается отъ такого звука именно тѣмъ, что словомъ люди пользуются сознательно, разумно, между тѣмъ какъ въ животномъ дѣйствуетъ такъ называемый инстинктъ. Но понятіе инстинкта очень неясно: мы подъ нимъ разумѣемъ, быть можетъ, только низшую ступень разума, или, лучше сказать, ту же способность разума только въ примѣненіи къ такъ называемымъ низшимъ жизненнымъ отправленіямъ. Такимъ образомъ границу между инстинктомъ и разумомъ провести очень трудно. И человѣкъ несомнѣнно обладаетъ инстинктами, хотя бы на примѣръ инстинктомъ самосохраненія, и, когда человѣкъ въ опасности

кричить „карауль!“, „горимъ“, „пожаръ!“ и т. п., можно съ полнымъ правомъ сказать, что онъ пользуется своимъ словомъ настолько же инстинктивно, какъ и собака своимъ лаемъ, если её что-либо испугало.

Съ другой стороны и животнымъ нельзя отказать въ разумѣ. Существуетъ даже довольно большая литература объ умѣ животныхъ. Невозможно, чтобы ихъ умъ не проявлялся въ пользованіи звуками, и факты подтверждаютъ это. Собака, царапающаяся въ дверь, желая попасть въ домъ, нерѣдко при этомъ лаетъ, и въ этомъ лаѣ, рѣзкомъ и отрывистомъ, слышится и нетерпѣніе и просьба, и невозможно предположить, чтобы эти дѣйствія собака совершала безсознательно, инстинктивно. Въ этомъ и подобныхъ случаяхъ несомнѣнно проявляется умъ животного и, что для насъ важнѣе всего, сознательное пользованіе звукомъ съ опредѣленною цѣлью.

Мало того, животное не только звукомъ выражаетъ свои впечатлѣнія, но и понимаетъ звуки своихъ собратьевъ. Оно, слѣдовательно, слыша звукъ, толкуетъ его и видитъ въ немъ знакъ тѣхъ же впечатлѣній, которыя оно само испытываетъ, когда издаетъ тотъ же звукъ. Такимъ образомъ, если для животного, издающаго звукъ, онъ настолько непосредственно связанъ съ ощущеніемъ, что является неизбѣжнымъ его результатомъ и неотдѣлимъ отъ него, то животное, слышащее звукъ, узнаетъ въ немъ радостный или печальный звукъ, и по нему воспроизводитъ, вспоминаетъ тѣ ощущенія, которыя вызвали такой же звукъ въ немъ самомъ. Этотъ процессъ толкованія воспринимаемыхъ звуковъ съ одной стороны требуетъ уже нѣкотораго ума, а съ другой — самъ содѣйствуетъ развитію этой способности животныхъ. Нельзя сомнѣваться въ томъ, что животныя дѣйствительно способны къ такому толкованію звуковъ. Это доказывается еще и тѣмъ, что многія изъ нихъ поддаются дрессировкѣ. Человѣкъ заставляетъ животное соединять съ опредѣленнымъ словомъ опредѣленное дѣйствіе. Такимъ образомъ у животного искусственно создается новая ассоціація звука съ дѣйствіемъ, и, слыша привычное слово, оно производитъ то дѣйствіе, котораго отъ него требуютъ. Все это — факты, всѣмъ хорошо извѣстные. Мы говоримъ въ подобныхъ случаяхъ, что животное понимаетъ наши слова, и въ этомъ выраженіи есть

доля истины. Конечно, животное не такъ понимаетъ слова человѣческой рѣчи, какъ человѣкъ, не соединяетъ съ ними тѣхъ же представлений и понятій, которыя человѣкъ привыкъ съ ними соединять; но не подлежитъ сомнѣнію, что хотя и очень незначительная часть значенія слова можетъ быть усвоена животнымъ. Нѣкоторые интересные примѣры такого усвоенія значенія словъ приведены у Дарвина въ его „Происхожденіи человѣка“<sup>1)</sup>.

Мы постоянно сравниваемъ человѣка, безъ смысла повторяющаго чужія слова, съ попугаемъ. Оказывается, что попугай вовсе не такъ бессмысленно выучивается произносить слова. Вотъ что говоритъ по этому поводу Дарвинъ: „досто-вѣрно извѣстно, что нѣкоторые попугаи, умѣющіе говорить, безошибочно связывали извѣстные слова съ опредѣленными предметами, лицами и дѣйствіями. Мнѣ прислали нѣсколько подробныхъ разсказовъ объ этомъ. Адмиралъ сэръ Сюлливанъ, котораго я знаю за хорошаго наблюдателя, увѣряетъ меня, что одинъ африканскій попугай, долго жившій въ домѣ его отца, безошибочно зналъ по именамъ домашнихъ, а также и гостей. Къ завтраку онъ говорилъ „доброе утро“, а вечеромъ „добрый ночи“, и никогда не путалъ этихъ привѣтствій. Здороваясь съ Сюлливаномъ отцомъ, онъ обыкновенно прибавлялъ къ привѣтствію короткую фразу, которую послѣ смерти старика никогда болѣе не повторялъ. Онъ жестоко обругалъ разъ чужую собаку, вскочившую въ комнату черезъ окно; онъ обругалъ также другаго попугая (словами „ты дрянной попугайшко“), который вылетѣлъ изъ клѣтки и сталъ клевать яблоки въ кухнѣ на столѣ. Д-ръ Мошкау сообщаетъ мнѣ, что онъ зналъ скворца, который безошибочно привѣтствовалъ приходящихъ словами „доброе утро“, а уходящихъ — „прощай старина“. Я могъ бы привести много подобныхъ примѣровъ“. Изъ этихъ примѣровъ мы видимъ, что слово усваивается говорящими птицами съ нѣкоторой степенью его пониманія: собственныя имена ассоціируются съ лицами, ихъ носящими; привѣтствія правильно соединяются съ временами дня — утромъ и вечеромъ; точно также и привѣтствія приходящихъ не смѣшиваются съ привѣтствіями уходящихъ и т. д. Мы видимъ, слѣдовательно, не только частичное пони-

1) Т. II стр. 58 русск. перевода изд. Поповой 1896 г.

маніе словъ, но и соотвѣтственное такому пониманію разумное ихъ употребленіе. Особенно поразителенъ въ этихъ примѣрахъ тотъ фактъ, что попугай сумѣлъ кстати примѣнить брань: слѣдовательно, онъ чувствовалъ въ бранныхъ словахъ нѣчто неодобряющее и примѣнимое къ нѣкоторой категоріи поступковъ, за которые его самого, очевидно, бранили. Все это, очевидно, усвоено изъ человѣческой рѣчи, но усвоено далеко не точно. Короткая фраза, на примѣръ, которою попугай привѣтствовалъ только Сюлливана-отца, очевидно была имъ ассоціирована съ нимъ однимъ и понималась такъ же, какъ собственное имя: послѣ смерти Сюлливана попугай ея не произносилъ.

Изъ бѣглаго обзора того, что даютъ намъ факты такъ называемаго „языка животных“, мы видимъ, что звуки животныхъ не имѣютъ того качества, которое составляетъ отличительный признакъ человѣческаго языка: мы не находимъ въ нихъ членораздѣльности. Конечно, психологію животного мы можемъ представить только по аналогіи со своею и потому съ полною достовѣрностью мы не могли бы отрицать всякую членораздѣльность выраженія впечатлѣній у животныхъ только на основаніи наблюденія надъ ихъ звуками. Но особенно сильнымъ подтвержденіемъ такого вывода являются наблюденія надъ результатами дрессировки и говорящими птицами. Мы видѣли, что говорящіе попугаи не усваиваютъ именно членораздѣльности человѣческой рѣчи: даже цѣлая фраза усваивается, какъ нѣчто недѣлимое, и ассоціируется съ однимъ человѣкомъ. Слѣдовательно, если даже при искусственномъ расширеніи области звуковъ животное все же не усваиваетъ членораздѣльности человѣческой рѣчи, то мы имѣемъ полное право отсюда выводить, что и въ области своихъ звуковъ животныя не знаютъ членораздѣльности, а это значить, что они не имѣютъ звукового языка.

## § 6. Междометіе и слово.

Мы уже видѣли, что и въ человѣческой рѣчи сохранились нечленораздѣльныя выраженія впечатлѣній: это — такъ называемыя междометія. Своею нерасчлененностью междометія напоминаютъ намъ звуки животныхъ, а потому сравненіе междометія со словомъ можетъ еще болѣе выяснитъ

разницу между звуками животныхъ и человѣческимъ языкомъ. О значеніи звуковъ животныхъ мы можемъ только догадываться, а съ междометіями мы знакомы по собственному опыту.

Строго говоря, подставляя вмѣсто звуковъ животныхъ междометія человѣческаго языка, мы рискуемъ сдѣлать ошибку, такъ какъ мы не можемъ доказать тождества междометій со звуками животныхъ. Но для нашей цѣли — для установленія границы между звуками животныхъ и человѣческимъ языкомъ — такая замѣна допустима: если даже междометія человѣческаго языка и не совпадаютъ по своему характеру со звуками животныхъ, если даже допустить, что они совершеннѣе звуковъ животныхъ, все равно ихъ приходится отнести къ періоду, до появленія человѣческаго языка; слѣдовательно, искомая граница должна лежать между междометіемъ и словомъ<sup>1)</sup>.

Какъ непосредственныя выраженія нашихъ ощущеній, междометія отличаются нѣкоторыми характерными особенностями. Прежде всего они не имѣютъ того, что въ словѣ мы называемъ значеніемъ. Даже и чувства они обозначаютъ очень неопредѣленно. Чтобы понять междометіе, мы должны опереться кромѣ него на что-либо болѣе опредѣленное. Слыша стоны, мы не можемъ опредѣлить ихъ значенія, пока не увидимъ положенія стонущаго человѣка. Междометіе всегда требуетъ для понятности какого-либо поясненія — словомъ или жестомъ. Эта неясность междометія объясняется тѣмъ, что мы употребляемъ его произвольно и обыкновенно не имѣемъ при этомъ въ виду сообщенія своихъ чувствъ другому.

Но съ другой стороны междометіе обладаетъ и общепонятностью, которая объясняется также его непосредственной связью съ чувствомъ. Вызванныя какимъ либо сильнымъ душевнымъ движеніемъ междометія уже въ самомъ звукѣ отражаютъ его; поэтому междометія такъ сходны въ различныхъ языкахъ. При этомъ надо замѣтить, что въ звукѣ междометія главную роль играетъ интонація, съ которою оно произносится, и эта-то интонація и дѣлаетъ его общепонятнымъ. Насколько существенна въ междометіи ин-

1) Параллель между междометіемъ и словомъ см. у Потебни „Мысль и языкъ“, 2 изд. Харьковъ, 1892, стр. 90—111.

тонація, видно изъ того, что прочитанное безъ всякой интонаціи, оно утрачиваетъ смыслъ, между тѣмъ какъ монотонная рѣчь все же остается понятою.

Междометіе вызывается какимъ либо сильнымъ или внезапнымъ впечатленіемъ, которое какъ бы подавляетъ человѣка и не даетъ ему возможности разобратъся въ вызванномъ чувствѣ. Каждый разъ какъ человѣкъ испытываетъ подобное чувство, оно вызываетъ въ немъ соотвѣтственный звукъ, и этотъ звукъ не повторяется человѣкомъ по памяти (въ подобныхъ случаяхъ ему некогда вспоминать что-либо), а какъ бы создается каждый разъ снова. Этимъ и объясняется неизмѣнность междометія. Оно въ языкѣ не имѣетъ исторіи, такъ какъ настолько сростается съ впечатлѣніемъ, его вызывающимъ, что отдѣлить одно отъ другого совершенно невозможно.

Слово отличается какъ разъ противоположными свойствами. Само по себѣ, какъ звукъ или сочетаніе звуковъ, оно не можетъ быть понято, какъ бы выразительно оно ни произносилось. Между значеніемъ слова и его формою нѣтъ непосредственной связи, которая бы давала возможность его понять. Это видно уже изъ разнообразія существующихъ языковъ, которые одно и то же представленіе или понятіе обозначаютъ различными звуковыми сочетаніями. Если намъ иногда и кажется, будто извѣстное названіе, такъ хорошо живописуетъ предметъ, что другого имени у него и быть не можетъ, то это впечатлѣніе есть результатъ привычки, результатъ постоянной ассоціаціи между словомъ и обозначаемымъ имъ представленіемъ. Даже свой родной языкъ мы знаемъ не отъ природы: мы ему выучиваемся, т. е. усваиваемъ постепенно ту условную связь, которая существуетъ между звукомъ и его значеніемъ въ данномъ языкѣ<sup>1)</sup>.

1) Эта привычная связь можетъ представляться наивному уму, какъ нѣчто лежащее въ природѣ вещей. Малороссъ говоритъ: „не даромъ Богъ свиню свинею прозавъ: сказано свиня“. Но иногда подобныя мнѣнія можно услышать и изъ устъ образованнаго человѣка. Такъ напр. у С. Аксакова мы читаемъ: „Имя ерша, очевидно, происходитъ отъ его наружности; вся его спина, почти отъ головы и до хвоста, вооружена острыми, крѣпкими иглами, соединенными между собой тонкою, пестрою перепонкою; щетки, покрывающія его жабры, имѣютъ также по одной острой иглѣ, и, когда вытащишь его изъ воды, то онъ имѣетъ способность такъ растопы-

Хотя слово, какъ звукъ, и непонятно само по себѣ, тѣмъ не менѣе оно всегда имѣетъ гораздо болѣе опредѣленное значеніе, нежели междометіе. Слово выражаетъ не смутное чувство, а обозначаетъ опредѣленное представленіе или понятіе.

Между тѣмъ какъ междометіе остается всегда неизмѣннымъ, слово мѣняется съ теченіемъ времени не только свою форму но и значеніе. Каждое слово понимается нами въ различное время различно, хотя мы часто и не замѣчаемъ этого измѣненія значенія слова. Оно становится для насъ яснымъ только по прошествіи значительнаго промежутка времени, когда мы, напримѣръ, замѣчаемъ, что раньше понимали слово иначе, чѣмъ теперь. Такимъ образомъ, въ противоположность междометію, слово имѣетъ свою исторію.

Междометіе вызывается сильнымъ или неожиданнымъ впечатлѣніемъ, а слово, наоборотъ, обыкновенно сопровождается гораздо болѣе слабыми чувствами. Сильное чувство даже служить помѣхою слову: для того чтобы человѣкъ могъ говорить, необходимо ослабленіе чувства, которое только при этомъ условіи можетъ не подавлять дѣятельности ума, проявляющейся въ нашей рѣчи.

Итакъ слово отличается отъ междометія: 1) условностью связи между звукомъ и значеніемъ, 2) значительною опредѣленностью значенія, 3) способностью къ измѣненію какъ въ звуковой формѣ, такъ и въ значеніи и 4) преобладаніемъ анализирующаго ума надъ чувствомъ.

## § 7. Природа слова.

Установивши различія между междометіемъ и словомъ, мы должны теперь подробнѣе рассмотреть природу слова.

Первое, на что намъ слѣдуетъ обратить вниманіе, это — отвлеченность слова. Нѣтъ ни одного слова, которое бы обозначало отдѣльный предметъ въ природѣ, кромѣ, конечно, тѣхъ случаевъ, когда словомъ обозначается какой-либо

---

речь свои жабры, такъ взерошить свой спинной хребетъ и загнуть хвостъ, что названіе ерша, вѣроятно, было ему дано въ ту же минуту, какъ только въ первый разъ увидѣлъ его человѣкъ." Полн. Собр. Соч. С. Т. Аксакова, т. V, стр. 73 сл. Спб. 1886 г.

единственный въ природѣ предметъ, какъ напр. „солнце“, „луна“ и т. п. Но такихъ случаевъ очень немного, и мы видѣли, что даже слово „солнце“ въ настоящее время имѣть болѣе широкое значеніе, обозначая въ астрономіи всякую звѣзду, имѣющую самостоятельный свѣтъ. Какъ бы то ни было, чтобы понять природу слова, мы не должны обращаться къ такимъ исключительнымъ случаямъ. Если же мы рассмотримъ большинство словъ въ языкѣ, то увидимъ, что каждое слово обозначаетъ не единичный предметъ, а цѣлую категорію однородныхъ предметовъ. Когда мы говоримъ „дерево“, „рыба“, „столь“ и т. д., то мы разумѣемъ подъ этими словами не данное дерево, данную рыбу, данный столь, а цѣлый рядъ предметовъ, каждый изъ которыхъ мы можемъ назвать деревомъ, рыбою, столомъ и т. д. Мы даже не можемъ представить себѣ такого языка, который бы для каждаго отдѣльнаго предмета имѣлъ особое названіе. Такой языкъ есть нелѣпость: никакая человѣческая память не могла бы удержать такого количества названій, да и самъ языкъ утратилъ бы все свое значеніе, если бы каждому новому предмету нужно было давать и новое имя. Если даже личныхъ собственныхъ именъ въ языкѣ бываетъ весьма ограниченное количество, и въ названіяхъ лицъ постоянно повторяются тѣ же самыя имена, то въ наименованіи предметовъ приходится соблюдать такую же, если не бѣльшую экономію. Такимъ образомъ каждое слово обозначаетъ общее представленіе или понятіе предмета, а не самый предметъ.

Эта отвлеченность слова предполагаетъ многократное повтореніе однородныхъ воспріятій, которыя человѣкъ научился отождествлять. Общее представленіе можетъ быть создано только тогда, когда человѣкъ уже научился въ каждомъ новомъ воспріятіи, напр. даннаго дерева, находить общее со всѣми прежними воспріятіями другихъ деревьевъ. Общее представленіе всегда является сознательнымъ или безсознательнымъ выводомъ изъ цѣлаго ряда однородныхъ воспріятій. Все это съ несомнѣнностью указываетъ на то, что созданію слова предшествуетъ 1) долгій опытъ и 2) классицирующая работа ума.

Дѣйствительно, благодаря словамъ, обозначающимъ общія понятія, весь міръ явленій у всякаго человѣка, обладающаго языкомъ, является уже до нѣкоторой степени ана-

лизированнымъ, разбитымъ на болѣе или мѣнѣе крупныя группы. Такимъ образомъ уже изъ этихъ соображеній видно, что въ словѣ отражаются первые зачатки своего рода научной мысли. Вѣдь всякая наука работаетъ въ томъ же направленіи. Поэтому интересно прослѣдить процессъ созданія новыхъ наименованій предметовъ и процессъ измѣненія значеній словъ, такъ какъ мы можемъ надѣяться, что по этимъ процессамъ мы сможемъ до извѣстной степени уловить ходъ работы человѣческаго ума и понять такимъ образомъ отношеніе слова къ мысли.

Первоначальнаго созданія словъ мы, конечно, не можемъ наблюдать и потому должны обратиться къ тѣмъ случаямъ, когда уже въ историческое время на нашихъ глазахъ создаются названія для новыхъ, прежде неизвѣстныхъ предметовъ. Такихъ случаевъ много. Обыкновенно человѣкъ не выдумываетъ для новаго предмета совершенно новаго слова, а старается воспользоваться уже существующимъ въ языкѣ запасомъ словъ и такъ или иначе примѣнить его къ данному случаю. Очень часто мы наблюдаемъ, что при этомъ въ значеніи новаго представленія употребляется уже существующее старое слово, которое такимъ образомъ получаетъ новое, такъ называемое переносное значеніе. Процессъ такого перенесенія значенія объясняется совершенно случайнымъ сравненіемъ одного предмета съ другимъ, сравненіемъ часто очень неполнымъ; но достаточно того, что такое сравненіе было сдѣлано и въ данный моментъ было понято: новое слово, постоянно повторяясь, завоевываетъ себѣ право гражданства, подавшее поводъ къ сравненію сходство забывается, и часто стоитъ большого труда возстановить забытое сравненіе.

Нѣсколько примѣровъ пояснятъ сказанное. Быками мы называемъ устои моста: мостъ на быкахъ; бѣлую пѣну на гребняхъ волнъ мы называемъ зайчиками, и то же имя даемъ отраженію свѣта, играющему на стѣнѣ; корешки мы находимъ не только въ супѣ, но и у переплетовъ книгъ; у ружья мы находимъ собачку и курокъ (курокъ значитъ собственно маленькій пѣтухъ, пѣтушокъ); на языкѣ охотниковъ волчій хвостъ называется полѣномъ; подошва есть не только у сапога, но и у горы; у колокола есть языкъ; хребтомъ мы называемъ не только позвоночникъ, но и горную цѣпь (и слово цѣпь здѣсь примѣнено къ горамъ

въ переносномъ смыслѣ). Много бранныхъ и ласкательныхъ словъ представляютъ изъ себя названія животныхъ: мы называемъ иногда человѣка осломъ, свиньею, вороною, медвѣдемъ, лисою, змѣею . . . , а другой разъ соколомъ яснымъ, орломъ, голубчикомъ и т. д.

Во всѣхъ приведенныхъ случаяхъ слово вмѣстѣ со своимъ значеніемъ является знакомъ, символомъ другого представленія, и мы ясно понимаемъ и значеніе символа и новое значеніе, имъ обозначенное. Но во многихъ случаяхъ значеніе символа уже забылось, и намъ приходится устанавливать его путемъ историко-сравнительнаго анализа слова. Такъ уже и въ приведенныхъ примѣрахъ мы встрѣчались со словомъ куро́къ, которое уже не существуетъ въ настоящее время въ значеніи „пѣтушокъ“. Точно также слово пиръ значитъ собственно попойка (отъ одного корня съ глаголомъ пить); слово ча́нь, древнее д (ъ) ща́нь значитъ собственно „дощаный“ отъ слова доска; слова остро́въ и стру́я восходятъ къ одному корню \*sgu-, который мы находимъ и въ санскритскомъ sṛá vati „течетъ“; дитя (древнеслав. дѣта) значитъ собственно „сосунецъ“: лат. fēlāge „сосать“; вы́дра родственно греческому ὕδρα „морская змѣя, гидра“ и ὕδωρ „вода“ и первоначально означало „водяное животное“.

Такъ какъ большинство словъ поддается такому этимологическому толкованію, то мы имѣемъ полное право допустить, что и всѣ вообще слова въ языкѣ такимъ именно путемъ измѣняютъ и развиваютъ свое первоначальное значеніе. Каждое слово въ языкѣ способно такимъ образомъ мѣнять свое значеніе, и обыкновенно мы находимъ въ языкѣ только слова съ этими уже вторичными значеніями. Первоначальныя значенія словъ для насъ совершенно недоступны: я разумѣю здѣсь тѣ первоначальныя значенія, которыя имѣли слова въ доисторическій періодъ созданія языка.

Изъ всѣхъ приведенныхъ примѣровъ мы можемъ видѣть, что слово всегда можетъ быть разложено на три составныя части: 1) звуковая форма, т. е. извѣстное сочетаніе звуковъ, 2) символъ, т. е. предшествующее значеніе слова, употребляемое, какъ знакъ другого значенія и, наконецъ, 3) самое значеніе слова т. е. представленіе или понятіе, соединяемое съ нимъ. Особенно важенъ въ развитіи

слова символъ, который является живымъ связующимъ звеномъ между звуковымъ составомъ слова и его значеніемъ. Иногда этотъ элементъ слова называютъ внутренней формою слова<sup>1)</sup>. Дѣйствительно, если мы будемъ разсматривать слово въ цѣломъ, то на значеніе его мы можемъ смотрѣть, какъ на содержаніе. Это значеніе всегда облечено въ форму звука, т. е. во внѣшнюю, воспринимаемую слухомъ форму. Второй элементъ слова, символъ, является тоже формальнымъ элементомъ, но его формальность совсѣмъ иного характера. Здѣсь уже не звукъ, а представленіе является знакомъ другого представленія, символомъ значенія слова. Это уже не внѣшняя, а внутренняя форма слова.

Пояснимъ нашъ анализъ слова разборомъ нѣкоторыхъ изъ тѣхъ примѣровъ, которые были приведены выше. Когда мы произносимъ слово „быки“ въ смыслѣ устоевъ моста, то мы соединяемъ данное звуковое сочетаніе (первый элементъ) съ представленіемъ устоевъ моста, со знаніемъ этого слова (третій элементъ); но звукъ и значеніе соединены въ этомъ словѣ не произвольно, а черезъ посредство представленія быка-животнаго, съ которымъ устой моста сравнивается, очевидно, какъ нѣчто массивное, тучное, прочное, какъ быкъ. Представленіе быка является знакомъ, символомъ представленія устоя моста (это второй элементъ, символъ, внутренняя форма слова). Точно такъ же, когда мы человѣка называемъ „медвѣдемъ“, то это слово (первый элементъ) соединяется съ представленіемъ неуклюжаго человѣка (значеніе слова — третій элементъ) при посредствѣ представленія неуклюжаго звѣря, медвѣдя (символъ, внутренняя форма слова). Подобнымъ образомъ могутъ быть расчленены всѣ приведенные выше примѣры. Само собою разумѣется, что каждое значеніе слова можетъ само сдѣлаться символомъ новаго значенія, и практически такихъ случаевъ мы встрѣчаемъ очень много; такъ напр. и слово „медвѣдь“ получило значеніе звѣря при посредствѣ представленія любителя меда („медвѣдь“ значитъ „поѣдатель меда“). Такимъ образомъ представленіе любителя меда, является символомъ медвѣдя, а медвѣдь, является въ свою

1) „Внутренняя форма“ — терминъ, введенный Вильгельмомъ Гумбольдтомъ, но онъ его понимаетъ значительно шире. И символическій элементъ слова входитъ въ Гумбольтовское пониманіе „внутренней формы“; но къ внутренней формѣ онъ относитъ и многое другое.

очередь символомъ неуклюжаго человѣка. Въ этомъ постоянномъ перенесеніи значенія и заключается жизнь и развитіе слова.

Изъ выясненія природы слова вытекаетъ, что слово есть явленіе довольно сложное. Даже рассматривая отдѣльное слово само по себѣ, мы находимъ въ немъ слѣды долгой и сложной работы человѣческой мысли. Мы различили въ словѣ три элемента, изъ которыхъ два непосредственно отражаютъ процессъ сопоставленія уже извѣстнаго представленія съ новымъ представленіемъ, требовавшимъ извѣстнаго объясненія. Процессъ образованія новаго значенія слова основывается на сопоставленіи двухъ представленій, изъ которыхъ одно должно характеризовать другое. Каждое слово такимъ образомъ проходитъ послѣдовательно черезъ цѣлую цѣпь различныхъ значеній, изъ которыхъ каждое послѣдующее вытекаетъ изъ предыдущаго, благодаря новому сопоставленію представленій.

Конечно, не случайно сопоставленіе представленій играетъ такую важную роль въ исторіи слова. Отдѣльные слова, которыя мы разбирали, были нами вырваны изъ живой человѣческой рѣчи, гдѣ они встрѣчаются не по одиночкѣ, а въ различныхъ сочетаніяхъ, въ различныхъ сопоставленіяхъ. Такъ слово „медвѣдь“ никогда не могло бы получить значеніе неуклюжаго человѣка, если бы оно въ живой рѣчи не сочеталось съ названіями людей. Языкъ характеризуется не отдѣльнымъ словомъ, а сочетаніемъ словъ, предложеніемъ. Въ большинствѣ случаевъ, даже выдѣленное изъ рѣчи, слово носить на себѣ слѣды связи съ предложеніемъ. Такъ напр. слово „языкъ“ есть не только знакъ извѣстнаго представленія, но въ то же время это — имя существительное, мужскаго рода, именительный или винительный падежъ единственнаго числа т. е. уже этими признаками опредѣляется та роль, которую это слово можетъ играть въ предложеніи; оно могло бы быть въ предложеніи только либо подлежащимъ, либо прямымъ дополненіемъ; а грамматическій родъ указываетъ на форму прилагательнаго, могущаго стоять при этомъ словѣ. Никогда не слѣдуетъ забывать, что атмосфера, въ которой живетъ и измѣняется слово, есть атмосфера связной рѣчи, и не принимая ея во вниманіе, мы не можемъ уяснить себѣ природу слова. Если даже въ отдѣльномъ

словъ мы нашли слѣды сопоставленія понятій, то это обстоятельство указываетъ также и на то, что рядомъ съ сопоставленіемъ понятій шло и сопоставленіе словъ: одно не мыслимо безъ другого. Поэтому, чтобы уяснить себѣ природу слова, его значеніе въ процессѣ мысли и вообще связь мысли съ языкомъ, намъ слѣдуетъ разсмотрѣть оба процесса: и процессъ сопоставленія словъ и процессъ сопоставленія представлений.

Возьмемъ для примѣра слово „голубой“. Оно обозначаетъ извѣстный цвѣтъ, но обозначаетъ его, указывая на предметъ, обладающій этимъ цвѣтомъ, на голубя. Это — внутренняя форма слова „голубой“. Такимъ образомъ въ самомъ словѣ цвѣтъ еще сливается съ предметомъ, обладающимъ этимъ цвѣтомъ. Но когда это слово начинаетъ сочетаться съ другими словами, когда появляются такія сочетанія какъ „голубое небо“, „голубой цвѣтокъ“, то мы, естественно, уже не можемъ съ небомъ и цвѣткомъ соединять представление голубя, первоначального носителя этого цвѣта. Только вслѣдствіе такихъ сочетаній цвѣтъ окончательно отдѣляется отъ предмета, и у насъ складывается представление „голубого“, независимо отъ голубя. При этомъ и самое значеніе „голубого“ цвѣта значительно расширяется по содержанию: „голубой“ начинаетъ обозначать множество различныхъ оттѣнковъ, которые настолько отличаются отъ цвѣта голубя, что въ настоящее время врядъ-ли кто назоветъ голубя голубымъ. Это отвлеченіе цвѣта отъ предмета ведетъ къ забвенію внутренней формы слова: мы употребляемъ теперь это слово, нисколько не представляя при его произнесеніи цвѣта голубя, хотя связь словъ „голубой“ — „голубь“ въ языкѣ совершенно ясна. Такимъ образомъ мы видимъ, что самый процессъ отвлеченія понятія, или созданія общаго представления, обозначаемого словомъ, находится въ связи съ сопоставленіемъ различныхъ словъ въ рѣчи.

Повидимому, названія всѣхъ цвѣтовъ произошли тѣмъ же путемъ, какъ и названіе голубого цвѣта. Такъ „розовый“ происходитъ отъ слова „роза“ и обозначаетъ первоначально цвѣтъ розы, „малиновый“ — происходитъ отъ „малины“, „коричневый“ — отъ „корицы“ и т. д. Названія „фіолетовый“ и „оранжевый“ — слова заимствованныя въ русскомъ языкѣ, но по первоначальному своему значенію указываютъ на

цвѣтъ фіалки и апельсина (франц. violette „фіалка“, orange „апельсинъ“). Какъ заимствованныя слова, „фіолетовый“ и „оранжевый“ не могутъ имѣть внутренней формы, такъ какъ они стоятъ внѣ этимологической связи съ другими словами языка. Это обстоятельство выгодно ихъ отличаетъ отъ словъ, созданныхъ языкомъ самостоятельно: послѣднія утрачиваютъ внутреннюю форму только постепенно, тогда какъ заимствованныя слова уже съ самаго начала ея не имѣютъ. А утрата внутренней формы, какъ мы видѣли, сопровождается выясненіемъ значенія слова, слѣдовательно, представляетъ выгоду для языка: мысль, а вмѣстѣ и языкъ дѣлается точнѣе. Во многихъ случаяхъ старанія пуристовъ изгнать иностранное слово именно потому и не увѣнчиваются успѣхомъ, что на мѣсто простого представленія (напр. калоши) хотятъ поставить тяжеловѣсный образъ (мокроступы).

Когда мы одно и то же понятіе сопоставляемъ съ различными другими понятіями, то этимъ самымъ сопоставленіемъ мы выясняемъ и различныя стороны даннаго понятія, анализируемъ его, отыскиваемъ въ немъ различные признаки. Примѣръ нагляднѣе всего представитъ намъ этотъ процессъ. Когда мы говоримъ „вода прозрачна“, „вода течетъ“, „вода высыхаетъ“, „вода замерзаетъ“, то мы соединяетъ съ понятіемъ воды понятія прозрачности, текучести, высыхания, замерзанія. Съ этимъ вмѣстѣ понятіе воды разлагается, анализируется. Мы находимъ въ немъ новыя стороны, которыя скрывались въ понятіи воды. Первоначально съ этимъ словомъ мы не соединяли представленій объ этихъ признакахъ воды. Путемъ сопоставленія мы анализировали понятіе воды, оно стало для насъ болѣе содержательнымъ.

Этотъ процессъ невысказимъ безъ языка. Въ жизни мы никогда не встрѣчаемся съ отдѣльными воспріятіями. Даже то, что мы называемъ воспріятіемъ отдѣльнаго предмета, всегда есть явленіе сложное, прежде всего уже потому, что одинъ и тотъ же предметъ можетъ дѣйствовать одновременно на всѣ наши чувства: и на зрѣніе, и на слухъ, и на обоняніе, и на осязаніе, и на вкусъ, и на мускульное чувство. Кромѣ того и на отдѣльное чувство предметъ можетъ производить сразу различныя впечатлѣнія; такъ напр. зрѣніемъ мы воспринимаемъ и цвѣтъ предмета, и его очертанія, и его величину, и его рельефъ. Въ этой массѣ различныхъ

воспріятій чело́вѣкъ не могъ бы разобратъся, если бы на помощь не приходило слово. Совершенно случайный признакъ предмета, какъ внутренняя форма слова, становится знакомъ цѣлаго сложнаго воспріятія предмета. Этотъ знакъ, облеченный въ форму слова, даетъ первую точку опоры въ анализѣ даннаго воспріятія. Первоначально слово обращаетъ вниманіе только на одинъ признакъ предмета, но, превращаясь въ знакъ опредѣленнаго понятія, слово объединяетъ все разнообразіе признаковъ предмета, не только замѣченныхъ, но и тѣхъ, которые ускользнули первоначально отъ нашего вниманія. Указывая только на одинъ признакъ предмета, слово облегчаетъ дѣло чело́вѣческой памяти, а превращаясь въ знакъ отдѣльнаго понятія, оно даетъ достаточно простора для дальнѣйшаго приобрѣтенія знаній. Такимъ образомъ самая безсодержательность слова оказывается весьма важна: она-то и дѣлаетъ слово могучимъ орудіемъ мысли. Чтобы еще яснѣе понять это, обратимъ вниманіе на математику, которая довела точность своихъ выводовъ до необыкновенно высокой степени. Математика достигла этого благодаря своему особенному языку знаковъ. Буквенныя обозначенія величинъ совершенно безсодержательны и произвольны сами по себѣ, но они въ то же время, именно благодаря этой условности и безсодержательности, позволяютъ впадать въ нихъ весьма точно опредѣленное содержаніе. Языкъ, конечно, не можетъ достигнуть такого состоянія, но въ немъ мы замѣчаемъ ту же зависимость: языкъ становится тѣмъ точнѣе, чѣмъ безсодержательнѣе сами по себѣ становятся слова, утрачивая свою внутреннюю форму, чѣмъ ближе они приближаются къ простому знаку, къ символу.

Если мы сравнимъ языкъ поэзіи съ языкомъ научнымъ, то найдемъ между ними именно ту разницу, что поэтической языкъ описываетъ явленіе образами, т. е. въ немъ господствуетъ внутренняя форма слова, между тѣмъ какъ научный языкъ борется противъ этой внутренней формы и старается на ея мѣсто поставить точно опредѣленное значеніе. Если мы рассмотримъ для примѣра начало стихотворенія Кольцова „Урожай“, то замѣтимъ, что образы чередуются со словами точнаго значенія чуть ли не на половину (я подчеркиваю образныя слова):

Краснымъ полымемъ	Разгорѣлся день
Заря вспыхнула,	Огнемъ солнечнымъ,
По лицу земли	Подобралъ туманъ
Туманъ стелется;	Выше темя горъ.

Въ поэтическомъ языкѣ господствуетъ сравненіе. Оно же, какъ мы видѣли, создаетъ внутреннюю форму слова. Внутренняя форма, напоминая образы чуждыя по существу значенію слова, можетъ только препятствовать выясненію понятія. Чѣмъ яснѣе для насъ значеніе слова, тѣмъ туманнѣе внутренняя форма, и наоборотъ. Самыми точными словами являются тѣ, въ которыхъ внутренняя форма совсѣмъ забыта.

Часто можно слышать сожалѣнія объ утратѣ первоначальной картинности стараго или народнаго языка. При этомъ не слѣдуетъ однако забывать, что, утрачивая старую картинность, языкъ всегда создаетъ новую: мы видѣли, что безъ внутренней формы невозможно измѣненіе значенія слова; слѣдовательно, процессъ этотъ продолжается и въ наше время. Едва-ли возможно утверждать, что въ новомъ языкѣ меньше образовъ, чѣмъ въ старомъ. Но дѣло всетаки значительно мѣняется. Можно съ увѣренностью сказать, что первобытнаго наивнаго человѣка слово подавляло своими образами. Оно вызывало въ немъ суевѣрный страхъ и поклоненіе его силѣ. На этомъ основывается вѣра въ силу заговоровъ, заклинаній и увѣренность въ томъ, что колдуны „слово знаютъ“. Современный культурный человѣкъ самъ овладѣваетъ словомъ и начинаетъ понимать, что слово есть его собственное созданіе. Это освобожденіе человѣка отъ подавляющаго вліянія собственного слова непременно должно сопровождаться утратою старой внутренней формы слова, которая является главною носительницею образовъ. Старая картинность языка, конечно, утрачивается, и языкъ становится трезвѣе. Но слѣдуетъ ли сожалѣть о томъ, что человѣкъ освобождается отъ чаръ колдовства своего собственнаго слова?

## § 8. Морфологическая классификація языковъ.

Изученіе природы слова сравнительно съ междометіемъ устанавливаетъ значительную разницу между тѣмъ и другимъ.

Если при этомъ междометіе оказывается во многихъ отношеніяхъ сходнымъ со звуками животныхъ, то мы въ правѣ смотрѣть на междометія, какъ на остатки того состоянія, когда и человѣкъ, подобно животнымъ, не имѣлъ языка. Что такое состояніе было, въ этомъ мы не можемъ сомнѣваться, такъ какъ человѣкъ и до настоящаго времени не имѣетъ языка въ первый періодъ своей жизни: онъ ему выучивается только начиная со втораго года жизни. Эти соображенія естественно ставятъ передъ нами вопросъ о происхожденіи языка.

Вопросъ этотъ имѣетъ долгую исторію и очень богатую литературу; но намъ придется ограничиться только современною его постановкою и лишь намѣтитъ путь ея возможнаго разрѣшенія.

Эволюціонная теорія, такъ блестяще оправдывающаяся въ области естественныхъ наукъ, естественно побудила изслѣдователей искать разрѣшенія вопроса о происхожденіи языка въ томъ же направленіи. Они надѣялись среди многочисленныхъ и разнообразныхъ языковъ земнаго шара найти языки, представляющіе различныя историческія ступени человѣческаго языка. Представлялось возможнымъ, расположивъ эти ступени въ хронологическомъ порядкѣ перехода языка отъ одной ступени къ другой, получить такую картину развитія человѣческаго языка, которая могла бы бросить свѣтъ и на самое возникновеніе языка. Прежде всего было обращено вниманіе на различіе въ формальномъ строѣ языковъ. Мы видѣли уже, что слова, вступая въ рѣчи въ различныя отношенія другъ къ другу, обыкновенно тѣмъ или другимъ внѣшнимъ образомъ обозначаютъ эти ихъ взаимныя отношенія. Въ нашихъ индо-европейскихъ языкахъ обозначенія такихъ отношеній выражаются различными грамматическими категоріями, на которыя указываютъ тѣ или иныя внѣшнія звуковыя измѣненія обыкновенно конечныхъ элементовъ слова. Эти измѣненія носятъ названіе морфологическихъ, такъ какъ они касаются формы словъ.

Съ этой морфологической точки зрѣнія языки земнаго шара выказываютъ очень большое разнообразіе. Особенно оригинальнымъ строемъ отличаются такъ называемые корни е языка, самымъ типичнымъ представителемъ которыхъ является китайскій языкъ. Въ китайскомъ языкѣ всѣ слова

односложныя. Такъ какъ изслѣдователи думали, что эти односложныя слова подобны тѣмъ односложнымъ элементамъ, которые они называли корнями въ индо-европейскихъ языкахъ, то и языки, подобные китайскому, были названы корневыми языками. Иногда ихъ называютъ также изолирующими языками. Односложныя слова китайскаго языка не подвергаются никакимъ измѣненіямъ, и отношеніе ихъ другъ къ другу выражается порядкомъ словъ, который нельзя измѣнить, не мѣняя смысла фразы; такъ напр. wāng рао тіп значитъ по-китайски „царь охраняетъ народъ“, тіп рао значитъ „народъ охраняемъ“, а тіп рао іу wāng — „народъ охраняемъ царемъ“. Кромѣ того существуютъ и отдѣльныя слова, служащія для обозначенія того, что мы называемъ грамматическими категориями.

Другая обширная группа языковъ носить названіе агглютинирующихъ. Это названіе они получили потому, что грамматическія формы образуются въ нихъ простою прибавкою къ основѣ суффиксовъ, не имѣющихъ самостоятельнаго значенія; но эти суффиксы оказываются какъ-бы приклеенными къ основѣ (agglutinate „приклеивать“), причемъ слѣды такой склейки совершенно ясны, и форма безъ труда разлагается на составныя части.

Между агглютинирующими и флексирующими языками, къ которымъ относятъ языки семитскіе и индо-европейскіе, въ сущности нѣтъ принципиальнаго различія: флексирующіе языки отличаются отъ агглютинирующихъ только тѣмъ, что отдѣльныя составныя части слова слиты въ одно цѣлое гораздо прочнѣе, такъ что разложеніе слова на составныя части оказывается очень труднымъ.

Эти три морфологическихъ типа изслѣдователи одно время были склонны разсматривать, какъ три послѣдовательныя стадіи въ развитіи языка. На низшей ступени стоитъ китайскій языкъ, знающій одни только односложныя слова, которыя еще не далеко ушли отъ односложныхъ междометій-восклицаній. При сочетаніи этихъ односложныхъ словъ между собою одни слова становились носителями главнаго смысла рѣчи, другія брали на себя роль указателей извѣстныхъ отношеній. Чѣмъ ближе соприкасались эти два вида словъ между собою, тѣмъ прочнѣе становились составленныя изъ нихъ сочетанія. Съ теченіемъ времени эти сочетанія пре-

вращались въ новыя слова, но уже не односложныя, а многосложныя, въ зависимости отъ количества вошедшихъ въ нихъ составныхъ элементовъ. Первоначально эти новыя слова сохраняютъ слѣды своего происхожденія изъ сложенія односложныхъ элементовъ; это состояніе мы наблюдаемъ въ языкахъ агглютинирующихъ. Затѣмъ спайка составныхъ элементовъ слова достигаетъ наивысшей прочности въ типѣ флексирующихъ языковъ, который, по этому воззрѣнію, является высшимъ, наиболѣе совершеннымъ типомъ человѣческаго языка.

Однако эта стройная на первый взглядъ теорія наткнулась на цѣлый рядъ затрудненій, которыя разрушили всю стройность системы. Прежде всего оказалось, что существуютъ на земномъ шарѣ языки, которые не находятъ себѣ мѣста въ этой системѣ. Съ другой стороны оказался произвольнымъ самый порядокъ расположенія ступеней развитія языка. Въ китайскомъ языкѣ были найдены слѣды болѣе древняго состоянія, когда въ немъ были многосложныя слова; такимъ образомъ односложность китайскаго языка оказалась вовсе не первоначальною. Наоборотъ, въ англійскомъ языкѣ была подмѣчена тенденція сокращать свои слова, по возможности до одного слога, такъ что здѣсь языкъ флексирующій стремится достигнуть состоянія односложнаго китайскаго языка: съ высшей ступени языкъ падаетъ снова на самую низшую. Эти факты привели къ заключенію, что общая система развитія языка была построена слишкомъ поспѣшно на основаніи теоретическихъ соображеній, а не на основаніи внимательнаго изученія самыхъ языковъ. Европейскіе языки были поставлены на высшую ступень, какъ языки наиболѣе культурныхъ народовъ, а китайскій, не взирая на его многовѣковую культуру, низведенъ на самую низкую ступень, въ угоду предвзятой теоріи. Въ настоящее время языки земного шара изучены еще слишкомъ мало, такъ что установленіе ихъ научной классификаціи еще совершенно невозможно.

Во всей этой классификаціи правильно подмѣченъ только одинъ фактъ, это — агглютинація въ самомъ широкомъ смыслѣ слова. Но и её мы наблюдаемъ и въ индо-европейскихъ, слѣдовательно, флексирующихъ языкахъ. Извѣстно, на примѣръ, что суффиксъ латинскихъ нарѣчій *-iter* восходитъ къ

слову *iter* „путь“, такъ что нарѣчіе *breviter* „коротко“ собственно значить *breve iter* „короткимъ путемъ“. Но такая агглютинація вовсе не является признакомъ, характеризующимъ какую-либо стадію развитія языка: она можетъ встрѣчаться въ различныхъ періодахъ развитія даже одного и того же языка.

## § 9. Генеалогическая классификація языковъ.

Сравнительная грамматика индо-европейскихъ языковъ выдвинула другой признакъ, на основаніи котораго всѣ языки земного шара можно распредѣлить по крупнымъ группамъ. Это — родство языковъ между собою. Родственными языками мы называемъ такіе языки, которые представляютъ изъ себя болѣе или менѣе измѣненныя формы одного первоначальнаго языка. Иначе говоря, родственные языки восходятъ къ одному первоначальному языку. Признакомъ такого родства обыкновенно является большее или меньшее сходство языковъ, какъ въ звуковой системѣ, такъ особенно въ морфологическомъ строѣ словъ и въ синтаксическомъ складѣ предложенія. Сравнительная грамматика индо-европейскихъ языковъ построена на признаніи родства обширной группы языковъ, которую мы называемъ обыкновенно индо-европейской (иногда аrio-европейской). Въ Германіи эти языки называютъ индо-германскими. Иногда еще и до сихъ поръ можно встрѣтить въ томъ же смыслѣ названіе „арійскіе языки“, которое, однако, какъ мы сейчасъ увидимъ, употребляется обыкновенно въ другомъ смыслѣ.

Индо-европейскіе языки распространены почти по всей Европѣ и въ значительной части Азіи. Они дробятся на множество мелкихъ нарѣчій и говоровъ, которые составляютъ восемь крупныхъ группъ. Мы начнемъ обзоръ ихъ съ востока, съ Индіи.

1) Индо-иранская группа языковъ, иначе называемая арійской, состоитъ изъ двухъ близко-родственныхъ вѣтвей: индійской и иранской.

Языки Индіи извѣстны намъ съ очень древняго времени. Древнѣйшій памятникъ индійской литературы, сборникъ гимновъ въ честь различныхъ божествъ, извѣстный подъ именемъ Ригведы (*Ṛgvēdaḥ*), восходитъ ко второму

тысячелѣтію до Р. Х. Языкѣ, на которомъ написанъ какъ этотъ памятникъ, такъ и нѣкоторые другіе, близкіе къ нему по времени, называется в е д и ч е с к и м ѣ. Болѣе позднія формы того же языка обыкновенно принято называть санскритомъ. Слово санскритъ значитъ „(языкъ) обработанный, литературный“; онъ противуполагается обыкновенно различнымъ живымъ говорамъ, носящимъ общее названіе пра-крита, т. е. „простого языка“. Тотъ санскритъ, на которомъ написаны эпическія поэмы Махабхѣрата и Рамаяна, называютъ эпическимъ санскритомъ, въ отличіе отъ классическаго санскрита — языка позднѣйшей искусственной литературы, канонизованнаго знаменитымъ индійскимъ грамматикомъ Панини, лѣтъ за 300 до Р. Х. Съ этого времени и до нашихъ дней санскритъ существуетъ въ Индіи, какъ языкъ науки и литературы подобно средневѣковому латинскому языку. Нѣкоторые другіе живые говоры, выдвинутые религіозными движеніями, также стали литературными языками. Такъ секта джайновъ подняла на степень литературнаго языка пракритское нарѣчіе махараштри, а южный буддизмъ имѣетъ богатую литературу на языкѣ пали. Многочисленныя современныя индійскія нарѣчія восходятъ къ старымъ пракритскимъ, но подъ вліяніемъ ислама они заимствовали много арабскихъ элементовъ. Къ индійскимъ нарѣчіямъ относится также и цыганскій языкъ.

Древнѣйшимъ иранскимъ нарѣчіемъ является древне-персидскій языкъ клинообразныхъ надписей Дарія, Ксеркса и Артаксеркса (VI—V вв. до Р. Х.). Рядомъ съ этимъ языкомъ сохранилось другое нарѣчіе, на которомъ написаны священныя книги поклонниковъ Ахурамазды (Ормузда), связанныя съ именемъ Заратуштры (Зороастра). Этотъ языкъ, восходящій въ древнѣйшей своей части, повидимому, ко времени раньше VII в. до Р. Х., носитъ названіе зендскаго языка, или языка Авесты, по имени сборника этихъ священныхъ книгъ. Ко времени царствованія Сассанидовъ (III в. по Р. Х.) относится нѣкоторое количество памятниковъ по большей части переводовъ Авесты или комментаріевъ къ ней, написанныхъ на языкѣ того времени, носящемъ названіе пѣхлеви. Со времени водворенія въ Персіи ислама (IX в. по Р. Х.) начинается періодъ ново-

персидскаго языка, который дробится въ настоящее время на множество различныхъ нарѣчій<sup>1)</sup>.

2) Армянская группа. Древній армянскій языкъ извѣстенъ намъ съ V в. по Р. Х. Въ настоящее время армянскій языкъ раздѣляется на нѣсколько нарѣчій и содержитъ много заимствованій изъ персидскаго языка.

3) Греческая группа состоитъ изъ многочисленныхъ и разнообразныхъ говоровъ, извѣстныхъ намъ изъ надписей. Эти говоры можно объединить въ нѣсколько нарѣчій, изъ которыхъ самыми важными являются іоническо-аттическое, дорическое, сѣверо-западное (Эпира, Этоліи и др. областей), аркадско-кипрское и эолическое. Въ промежутокъ времени между III столѣтіемъ до Р. Х. и III вѣкомъ послѣ Р. Х. аттическій литературный языкъ вытѣснилъ изъ употребленія мѣстныя нарѣчія и легъ въ основу обще-греческаго живого языка (т. наз. *κοινή*), изъ котораго съ теченіемъ времени развились современныя новогреческія нарѣчія.

4) Албанскую группу составляютъ нарѣчія албанскаго языка, извѣстнаго намъ только съ XVII вѣка. Албанскій языкъ отличается большимъ количествомъ заимствованій изъ романскихъ, славянскихъ, турецкаго и ново-греческаго языковъ, такъ что собственно албанскія слова составляютъ не болѣе  $\frac{1}{10}$  всего его словаря.

5) Главнымъ представителемъ италійской группы является латинскій языкъ. Рядомъ съ нимъ существовали и другія нарѣчія, сохранившіяся въ немногочисленныхъ осскихъ и умбрскихъ надписяхъ. Съ распространеніемъ римскаго владычества латинскій языкъ распространился въ провинціяхъ западной римской имперіи и далъ начало новымъ романскимъ языкамъ: итальянскому, румынскому, провансальскому, французскому, испанскому, португальскому и другимъ.

6) Кельтская группа. На кельтскихъ нарѣчійяхъ говорили въ древности не только въ Галліи, но и въ Испаніи, на Британскихъ островахъ, въ области Альпъ и сѣверной

1) Исторія иранскихъ нарѣчій въ послѣднее время обогатилась нѣсколькими находками, которыя даютъ намъ представленіе о нѣсколькихъ иранскихъ нарѣчійяхъ, широко распространенныхъ въ средней Азіи въ первые вѣка по Р. Х.

Италіи. Въ настоящее время остались только нарѣчія ирландское, шотландское, кимрское и бретонское. Первые два составляютъ такъ называемую гэльскую группу, а вторыя называются общимъ именемъ британскихъ нарѣчій. Отъ древнихъ нарѣчій континента остались только собственные имена и нѣкоторыя слова, сохраненныя греческими и римскими писателями; всѣ эти данныя касаются языка Галліи.

7) Германская группа обыкновенно раздѣляется на три вѣтви: восточную, сѣверную и западную. Къ восточной вѣтви относится готскій языкъ: до насъ дошла часть перевода Библии на готскій языкъ, исполненнаго вестготскимъ епискомъ Вульфилою въ IV вѣкѣ. Къ сѣверной вѣтви относятся языки: исландскій, норвежскій, шведскій и датскій; а западная вѣтвь состоитъ изъ англо-саксонскаго, фризскаго, ниже-франкскаго, ниже-нѣмецкаго и выше-нѣмецкаго. Изъ англо-саксонскаго — развился современный англійскій языкъ, изъ ниже-франкскаго — голландскій, а изъ выше-нѣмецкаго — современный нѣмецкій языкъ.

8) Балтійско-славянская группа состоитъ изъ балтійской и славянской вѣтви. Къ балтійской вѣтви принадлежатъ языки: литовскій, латышскій и вымершій уже древне-прусскій. Славянская вѣтвь обыкновенно раздѣляется на три группы: восточную (нарѣчія великорусскія, малорусскія и бѣлорусскія), южную (болгарскій и сербскій языки) и западную (языки чешскій и польскій).

9) Особую группу составляютъ недавно открытыя въ средней Азіи нарѣчія такъ называемаго тохарскаго языка, который по своимъ особенностямъ занимаетъ, по мнѣнію Мейе, промежуточное мѣсто между итало-кельтской, греческой, армянской и славянской группой<sup>1)</sup>. Онъ былъ распространенъ въ буддійскихъ монастыряхъ въ средней Азіи (въ сѣверномъ китайскомъ Туркестанѣ) въ первые вѣка по Р. Х.

Подобно индо-европейскимъ языкамъ группу родственныхъ языковъ составляютъ также языки семитскіе. Къ нимъ относятся языки: древній ассирійскій, ханаан-

1) Cp. A. Meillet. Les nouvelles langues indo-européennes trouvées en Asie Centrale (Revue du Mois T. XIV. 10 août 1912. № 80 pp. 135—152).

скій, еврейскій, финикійскій, арамейскій, сирійскій, арабскій и эіопскій. Вѣроятно, и древне-египетскій языкъ, вмѣстѣ съ языками берберовъ и кушитовъ, принадлежитъ къ тому же семитскому семейству.

Далѣе, установлено родство такъ называемыхъ угрофинскихъ языковъ, т. е. мадьярскаго (венгерскаго), вогульскаго, остяцкаго, зырянскаго, вотяцкаго, черемисскаго, мордовскаго, финскаго (суоми), эстонскаго и лапландскаго.

Кромѣ того родственными признаются языки турецко-татарской группы, многочисленные языки южной Африки, носящіе общее названіе „банту“ и др. Менѣе точно обслѣдовано родство языковъ американскихъ краснокожихъ, австралійскихъ негровъ, полинезійцевъ и др. языковъ.

Въ настоящее время далеко не всѣ языки земного шара сведены въ такія группы родственныхъ языковъ; но и научно установленныя семейства языковъ ставятъ передъ нами вопросъ о возможномъ родствѣ этихъ семействъ между собою. Въ настоящее время высказываются предположенія о родствѣ индо-европейскихъ языковъ съ семитскими и угрофинскими; но пока въ наукѣ нѣтъ достаточныхъ данныхъ ни для того, чтобы признать такое родство, ни для того, чтобы категорически отрицать его возможность. Пока, слѣдовательно, такое родство не доказано.

По отношенію къ вопросу о происхожденіи языка, генеалогическая классификація языковъ даетъ, такимъ образомъ, очень мало. Мы не можемъ ожидать въ скоромъ времени даже полнаго распредѣленія всѣхъ языковъ земного шара по генеалогическимъ семействамъ; а чтобы приготовить почву къ такому рѣшенію вопроса о происхожденіи языка, нужно было-бы сравненіе языковъ распространить и на сравненіе семействъ между собою. Такимъ образомъ и этотъ путь едва-ли приведетъ насъ къ разрѣшенію вопроса о происхожденіи языка.

## § 10. Постановка вопроса о происхожденіи языка.

Существующія теоріи происхожденія языка обыкновенно дѣлятся на двѣ группы: 1) теоріи звукоподражанія и

2) теоріи междометій. Теоріи звукоподражання пояснюють виникнення мови з тих звуків, які людина виробляла, намагаючись повторити звуки, які видаються предметами або тваринами. Ці звукоподражання стали природними знаками представлених предметів, які видають ці звуки, і таким чином стали словами. Так як така теорія може пояснити лише обмежену кількість слів у мові, то саме поняття звукоподражання намагалися небагато розширити. Одні вказували на те, що звуками ми іноді намагаємося живописати навіть предмети, які не видають звуків; таким чином поняття звукоподражання розширилося настільки, що кожне слово у мові могло знайти звукоподражальне пояснення. Інші вказували на те, що елемент подражання заключався при створенні слова не в самому звуку, а в русі органів речі, головним чином мови, так що звуковий ефект при такому „звуковому жесті“ міг далеко не відповідати звуку, який видає сам предмет. Цей „звуковий жест“, згідно з тим, що дійсно зустрічається в різних мовах, переважно для позначення самих органів вироблення або звуків людської речі: так у грецькій мові „болтати“ позначається дієсловом *λαλέειν*, в якому двічі повторюється звук *λ*, який виробляється енергійним рухом мови.

Але як видно, обидві ці спроби розширити область звукоподражання все ж не дали задовільного результату на питання походження мови. Вони лише небагато оправдали авторів цих теорій, коли вони ставили в своїй теорії слова „і так далі“ або „мало-помалу“ саме там, де починалася трудність. Врешті не було легко пояснити, що „кукушка“ названа по її крику „ку-ку“; трудність починається саме там, де ми зустрічаємося з відволеченими представленнями, які нічим загальним не зв'язані з звуком; а таких представлених у мові багато, можна навіть сказати, що такі слова складають головну масу словаря кожної мови.

Інші теорії, які пояснюють виникнення мови з междометій, виходили з тієї думки, що першими звуками у людини були випадкові, рефлекторні вигукання, які вийшли з її гортани безпосередньо під

вліяніемъ сильныхъ впечатлѣній, полученныхъ отъ предметовъ. Эти восклицанія при повтореніи становились знаками представленій тѣхъ предметовъ, которые эти восклицанія вызывали, и такимъ образомъ превращались въ слова.

Послѣ того какъ мы уже разсмотрѣли разницу между словомъ и междометіемъ, намъ нѣтъ надобности долго останавливаться на разборѣ этой теоріи. Для того, чтобы объяснить происхожденіе языка, она должна была бы выяснитъ, какимъ образомъ совершился переходъ отъ междометія къ слову во всѣхъ подробностяхъ; между тѣмъ она этого не дѣлала, ограничиваясь картинами того, какъ какой-нибудь крикъ ужаса могъ служить знакомъ, предупреждающимъ об опасности. Но мы видѣли, что это еще не языкъ. Однимъ словомъ, и эта теорія не разрѣшала главныхъ трудностей, а указывала лишь на одинъ изъ источниковъ, откуда во время возникновенія языка могли братья слова.

Но важнѣе всего обратить вниманіе на общій недостатокъ всѣхъ этихъ гипотезъ, коренящейся въ самой постановкѣ вопроса. И теоріи междометій и теоріи звукоподражанія стараются разяснить связь звукового состава слова съ даннымъ значеніемъ. Этотъ именно вопросъ кажется имъ наиболѣе труднымъ и требующимъ разясненія. Онѣ, слѣдовательно, ищутъ естественной связи между словомъ и значеніемъ. А мы видѣли, что слово именно тѣмъ и отличается отъ междометія, что не имѣетъ этой связи. Поэтому для объясненія возникновенія языка скорѣе слѣдовало-бы указать путь утраты этой связи, которая существовала въ междометіи и исчезла въ словѣ. Съ этой точки зрѣнія звукоподражательныя слова слѣдовало-бы считать менѣе приспособленными къ историческому развитію, такъ какъ живая связь звука со значеніемъ препятствуетъ переходу одного значенія въ другое. На практикѣ же мы обыкновенно находимъ, что и звукоподражательныя слова захватываются общимъ теченіемъ и развиваются наравнѣ съ другими, т. е. очень рано утрачиваютъ въ сознаніи говорящихъ непосредственную связь звука со значеніемъ.

Кромѣ этой ошибки, которая вытекаетъ изъ неправильнаго пониманія природы слова, мы замѣчаемъ еще и другую: непослѣдовательность въ употребленіи слова „языкъ“. Дѣйствительно, когда мы ставимъ вопросъ о происхожденіи

языка вообще, мы не можемъ понимать подъ словомъ языкъ какую-либо звуковую форму языка. Мы не говоримъ въ такомъ случаѣ ни о русскомъ, ни о французскомъ, ни о нѣмецкомъ, ни о какомъ-бы то ни было другомъ языкѣ, слѣдовательно отвлекаемся отъ всякой звуковой формы и говоримъ о языкѣ въ смыслѣ способности человѣка къ созданію звукового языка. Между тѣмъ въ своихъ отвѣтахъ всѣ эти теоріи имѣютъ въ виду объяснить связь звука со значеніемъ, слѣдовательно, именно звуковую форму языка. Здѣсь мы имѣемъ прекрасный примѣръ того, какъ слово можетъ насъ обманывать: ставя вопросъ о происхожденіи языка, мы употребляемъ слово „языкъ“ въ одномъ значеніи, а въ своемъ отвѣтѣ употребляемъ то-же слово въ другомъ. Если бы вопросъ шелъ о происхожденіи французскаго языка, то намъ не было бы нужды строить ни теорію звукоподражанія, ни теорію междометія: мы знаемъ, что французскій языкъ явился изъ народной латыни, и мы можемъ указать, какія измѣненія должны были совершиться для этого перехода. Если же вопросъ ставится о способности человѣка къ рѣчи, то ни звукоподражаніе, ни междометіе не могутъ объяснить намъ развитія этой способности: попугаи необыкновенно способны къ звукоподражанію, а языка не развили; точно также и междометія представляютъ общую съ животными ступень, предшествующую развитію языка. Такимъ образомъ мы видимъ, что неудача, постигшая обѣ наши теоріи, произошла отъ неясности въ самой постановкѣ вопроса.

Мы видимъ изъ этого разбора, что есть два вопроса о происхожденіи языка, соотвѣтственно двумъ значеніямъ слова „языкъ“. На вопросъ о происхожденіи языка въ смыслѣ опредѣленной звуковой формы можетъ отвѣтить только генеалогическая классификація языковъ, которая именно и имѣетъ въ виду прослѣдить переходы отъ одной звуковой формы языка къ другой. Въ этой практической области вопросъ о происхожденіи даннаго языка зачастую можетъ быть разрѣшенъ съ большою точностью. Но когда мы говоримъ о происхожденіи языка вообще, то мы разумѣемъ, конечно, не это. Для того чтобы правильно отвѣтить на этотъ вопросъ, мы ни на минуту не должны забывать что въ этомъ послѣднемъ случаѣ рѣчь идетъ о развитіи въ человѣкѣ способности къ звуковому языку.

## § 11. Посильный отвѣтъ на вопросъ о происхожденіи языка.

Въ той постановкѣ, которую мы дали вопросу о происхожденіи языка, онъ является уже поддающимся рѣшенію, хотя, конечно, отъ этого онъ не становится проще. Сложность вопроса заключается уже въ томъ, что мы по возможности должны указать всѣ условія, которыя такъ или иначе способствовали развитію въ человѣкѣ способности къ созданію звукового языка, и здѣсь можетъ сказать свое слово не только языковѣдъ, но также и зоологъ, и сравнительный анатомъ, и фізіологъ, и психологъ.

Мы видѣли, что языкъ есть орудіе нашей мысли, и при томъ такое орудіе, какого не создало себѣ ни одно животное, кромѣ человѣка. Поэтому, насколько наша мысль зависитъ отъ развитія головного мозга, уже самое строеніе его является условіемъ, необходимымъ для созданія языка. Дѣло сравнительнаго анатома выяснить, какое строеніе головного мозга является необходимымъ для развитія способности языка. Мы знаемъ, что въ человѣческомъ мозгу есть нѣсколько центровъ, завѣдывающихъ сложнымъ процессомъ рѣчи. Нужно помнить только при этомъ, что самое развитіе головного мозга должно находиться въ нѣкоторой зависимости отъ языка, который не могъ не вліять на развитіе органа, работающаго при его помощи.

То же самое можно замѣтить и относительно развитія органовъ рѣчи. Конечно, звуковой языкъ не могъ бы появиться у человѣка, если бы онъ не обладалъ такими гибкими органами рѣчи, и они, несомнѣнно, тоже являются необходимымъ условіемъ для возникновенія звукового языка. Но и здѣсь нужно помнить, что современное строеніе органовъ рѣчи человѣка, несомнѣнно, создалось и подъ вліяніемъ языка, такъ что въ моментъ возникновенія языка эта гибкость органовъ рѣчи могла быть меньше, сравнительно съ теперешней.

Далѣе, разсмотрѣніе свойствъ слова и сравненіе его съ междометіемъ и звуками животныхъ даетъ намъ указаніе на то, какія условія необходимо должны были прибавиться для возникновенія языка. Мы уже указывали на то, что уже

самая отвлеченность слова предполагаетъ въ человѣкѣ дол- гій опытъ: словомъ человѣкѣ обозначаетъ не отдѣльное явленіе, а общее представленіе о цѣломъ рядѣ однородныхъ явленій. Эта способность къ отвлеченію, несомнѣнно, суще- ствуетъ и у животныхъ, но у нихъ она не достигаетъ такой высокой степени развитія, какъ у человѣка.

Мы видѣли также, что въ междометіи отражается не- посредственно сильное душевное движеніе, которое даже можетъ являться препятствіемъ для произнесенія слова, между тѣмъ какъ въ словѣ проявляется спокойная работа ума и, слѣдовательно, значительное ослабленіе чувства. Это пока- зываетъ, что для развитія языка необходимо было наряду съ развитіемъ ума и ослабленіе впечатлительности. Мы замѣчаемъ, дѣйствительно, что животныя выказываютъ зна- чительно бѣльшую впечатлительность, нежели человѣкѣ. Быть можетъ, это происходитъ отъ большаго развитія у че- ловѣка задерживающихъ центровъ; но кромѣ того, эта мень- шая впечатлительность, несомнѣнно, является результатомъ большаго знакомства съ окружающимъ міромъ, болѣе глу- бокаго его знанія. Съ этой точки зрѣнія развитію языка способствовало все то, что заставляло человѣка внимательно присматриваться къ окружающимъ его явленіемъ.

Далѣе является естественно вопросъ, какимъ образомъ при ослабленіи чувства междометія могли превратиться въ слова. Первымъ этапомъ въ этомъ процессѣ является пре- вращеніе междометія, какъ выраженія сильнаго душевнаго движенія, въ символъ, въ знакъ этого ощущенія. Этотъ переходъ мы наблюдаемъ и въ звукахъ животныхъ. Мы видѣли, что животныя способны правильно толковать звуки своихъ собратьевъ: если при этомъ звукъ, издаваемый жи- вотнымъ, является еще рефлекторнымъ выраженіемъ сильнаго впечатлѣнія, то для животнаго, воспринимающаго этотъ звукъ, онъ превращается въ знакъ того впечатлѣнія, которое испы- тываетъ кричащее животное. На этомъ и основано понима- ніе звука. Но мы видѣли также, что животныя способны издавать звуки болѣе сознательно, имѣя въ виду звукомъ дать знать о себѣ своимъ собратьямъ или человѣку, съ цѣлью этимъ звукомъ обратить на себя вниманіе. При этомъ звукъ уже утрачиваетъ характеръ непосредственнаго выра- женія ощущенія и превращается въ символъ, въ знакъ этого

ощущенія: животное кричитъ не отъ боли, а издаетъ крикъ боли, чтобы вызвать въ своемъ собратѣ представленіе, будто оно ощущаетъ боль. Понятно, что уже въ этомъ процессѣ произнесеніе звука должно сопровождаться ослабленіемъ чувства и усиленіемъ спокойной работы разума.

Мы видѣли, что самымъ важнымъ отличіемъ человѣческаго языка отъ звуковъ животныхъ является членораздѣльность выраженія мысли въ языкѣ. Мы видѣли, что животныя не знаютъ этой членораздѣльности и не могутъ ея усвоить даже при дрессировкѣ. Естественно является вопросъ, какъ могло возникнуть это свойство: очевидно, оно и создаетъ человѣческій языкъ изъ нечленораздѣльныхъ звуковъ, или междометій. Мы видѣли, что членораздѣльность рѣчи стоитъ въ связи съ ея сложнымъ составомъ; она возникаетъ только въ предложеніи и въ немъ находитъ свое естественное выраженіе. Въ самомъ общемъ смыслѣ предложеніе есть сочетаніе словъ, и потому въ сочетаніи первоначальныхъ звуковъ, служившихъ символами какихъ-либо еще не выяснившихся представленій, намъ слѣдуетъ искать источника членораздѣльности. Простое сопоставленіе двухъ словъ и соотвѣтствующихъ имъ представленій непосредственно ведетъ къ анализу сопоставляемыхъ представленій и къ выясненію значенія сопоставленныхъ словъ. Если въ выраженіи „малиновая рубаха“ мы сопоставляемъ представленіе малины съ рубахой (мы не обращаемъ здѣсь вниманія на то, что „малиновый“ есть прилагательное: есть языки въ которыхъ тоже представленіе можетъ быть выражено простымъ сопоставленіемъ основъ), то съ одной стороны изъ представленія „малины“ выдѣляется то, что можно соединить съ представленіемъ „рубахи“, т. е. малиновый цвѣтъ, а съ другой стороны тотъ же цвѣтъ выдѣляется и въ представленіи „рубахи“. Такое сопоставленіе, слѣдовательно, какъ оно ни просто кажется на первый взглядъ, ведетъ къ взаимному анализу сопоставляемыхъ представленій и къ выясненію значеній сопоставляемыхъ словъ.

Конечно, такое сопоставленіе словъ не даетъ полнаго представленія о томъ первоначальномъ сопоставленіи звуковыхъ символовъ еще не выяснившихся вполнѣ, смутныхъ представленій: словъ въ то время еще не могло существовать, такъ какъ выясненіе значенія слова, а слѣдовательно

и самое созданіе его могло произойти только въ процессѣ сопоставленія. Мы должны, слѣдовательно, представить себѣ, что тѣ звуковые символы, которыми обладалъ въ то время человѣкъ, обозначали смутныя, нерасчлененныя, сложныя представленія. Процессъ анализа этихъ представленій начинается только съ ихъ сопоставленія при помощи звуковыхъ символовъ, и это сопоставленіе и есть начало языка: появляется членораздѣльная рѣчь, смутныя звуковые символы превращаются въ слова, въ процессѣ сопоставленія слова мѣняють безконечно свое значеніе, однимъ словомъ начинается та дѣятельность, которую мы называемъ языкомъ.

Конечно, многимъ можетъ показаться недостаточнымъ такой отвѣтъ на вопросъ о происхожденіи языка: естественно можетъ явиться желаніе представить себѣ этотъ процессъ въ болѣе конкретныхъ образахъ, въ картинѣ, гдѣ были бы сведены и должнымъ образомъ скомбинированы всѣ условія возникновенія языка. Но такой задачи наука на себя взять не можетъ. Ученые часто грѣшили въ этомъ отношеніи, и никогда картины, создаваемые ими, не оказывались удовлетворительными. Всѣхъ условій жизни первобытнаго человѣка мы не знаемъ, и какъ бы удачны ни были наши предположенія о нихъ, все же предположенія никогда не могутъ превратиться въ достовѣрные выводы, и потому наши картины всегда будутъ гадательны. Мы должны, слѣдовательно, ограничиться только указаніемъ этаповъ въ развитіи языка изъ звуковъ животныхъ и междометій. Такими этапами являются слѣдующіе моменты: 1) звуки являются непосредственнымъ отраженіемъ впечатлѣній внѣшняго міра; 2) звуки становятся символами воспринятыхъ впечатлѣній и 3) сопоставленіе звуковыхъ символовъ и соотвѣтствующихъ сложныхъ представленій ведетъ къ обоюдному анализу и вырабатываетъ слово съ его значеніемъ.

Нужно добавить только, что сопоставленіе звуковыхъ символовъ, которое и является собственно началомъ языка, мы не можемъ объяснять, какъ изобрѣтеніе какого-нибудь гениальнаго человѣка. Языкъ есть дѣятельность, проявляющаяся только въ обществѣ, и его возникновеніе можетъ быть объяснено только на почвѣ взаимодействія многихъ лицъ. Появленіе языка предполагаетъ, что до него доросла некая-либо гениальная личность, а все общество людей. Ге-

ниальный человекъ, заговорившій языкомъ, предполагаетъ столь же гениальныхъ слушателей, которые стали понимать языкъ.

Обзоръ условій возникновенія языка былъ бы не полонъ, если бы я не упомянулъ объ одной особенности строения человеческого тѣла, которая, повидимому, во многихъ отношеніяхъ оказалась полезной человеку: я имѣю въ виду вертикальное положеніе человеческого тѣла. Уже давно было обращено вниманіе на многочисленныя преимущества, которыя даетъ человеку вертикальное положеніе сравнительно съ горизонтальнымъ положеніемъ другихъ животныхъ. Прежде всего оно освобождаетъ грудь, которая у другихъ животныхъ стѣснена передними конечностями. Руки освобождаются отъ работы несенія тяжести тѣла и приспособляются специально къ хватательнымъ движеніямъ, при чемъ берутъ на себя и дѣло защиты противъ враговъ, которая у другихъ животныхъ выполняется преимущественно органами, такъ или иначе связанными съ головою: клыками, зубами, рогами. Вслѣдствіе этого освобождаются у человека отъ труда защиты органы рѣчи, безъ развитія которыхъ немислимъ человеческій языкъ. Что въ развитіи языка вертикальное положеніе человека играло значительную роль, видно уже изъ того, что между всѣми животными къ перениманію звуковъ человеческой рѣчи самыми способными оказываются птицы: и у нихъ крылья, соотвѣтствующія нашимъ рукамъ, даютъ большую свободу груди и органамъ, образующимъ звуки. Вертикальное положеніе косвенно оказывало благотворное вліяніе и на развитіе въ человекѣ ума: онъ могъ, двигаясь на ногахъ, руками брать различные предметы и разсматривать ихъ, расширяя такимъ образомъ сферу своего опыта; а опытъ и спокойное изученіе окружающаго, какъ мы видѣли, есть необходимое условіе возникновенія слова. Въ виду этого очень вѣроятнымъ является предположеніе, что именно вертикальное положеніе особенно выдвинуло человека изъ ряда другихъ животных<sup>1)</sup>.

1) О происхожденіи языка см. также мою статью въ „Русской Мысли“ 1912 г. июль стр. 110—134.

## § 12. Вспомогательныя дисциплины языкознанія.

Анализируя человѣческое слово, мы нашли въ немъ три элемента: звуковой составъ, символъ и значеніе. Этотъ анализъ указываетъ намъ, въ какомъ направленіи должны мы производить наши дальнѣйшія разысканія, изучая человѣческую рѣчь. Первая наша задача заключается въ изученіи звукового состава человѣческой рѣчи. Эта область стала систематически разрабатываться лишь во второй половинѣ 19-го вѣка, когда совершенно ясно было создано, что въ исторіи измѣненія звуковъ въ языкѣ играютъ важную роль самыя физическія условія образованія звука при помощи человѣческихъ органовъ рѣчи. На почвѣ изученія этихъ условій создавалась новая дисциплина, которую называютъ физиологіей звука, общею фонетикой или просто фонетикой, а иногда антропофоникой, т. е. ученіемъ о человѣческихъ звукахъ. Сначала новая дисциплина въ изслѣдованіи фонетическихъ вопросовъ пользовалась только методами наблюденія и самонаблюденія и лишь отчасти примѣняла экспериментъ, преимущественно въ областяхъ, соприкасающихся съ физикой (ученіе о звукѣ). Конечно, въ дѣлѣ изученія строенія органовъ рѣчи и ихъ движеній, фонетика пользовалась данными анатоміи и физиологіи. Но въ послѣднее время замѣтно проявляется новое теченіе, которое ставитъ себѣ цѣлью возможно точное изученіе фонетическихъ явленій. Для этой цѣли изобрѣтаются особые приборы, записывающіе либо движенія различныхъ органовъ рѣчи, либо взаимное ихъ расположеніе. Эти записи даютъ возможность иногда съ большою точностью выразить числами тѣ отношенія, которыя при помощи самонаблюденія опредѣляются лишь приблизительно. Экспериментальная фонетика — такъ обыкновенно называютъ это теченіе въ области физиологіи звука — въ настоящее время уже сумѣла выяснить нѣкоторые фонетическіе вопросы, и отъ нея мы ждемъ въ дальнѣйшемъ еще большихъ успѣховъ, особенно когда будутъ изобрѣтены способы регистраціи движенія внутреннихъ органовъ рѣчи (напр. голосовыхъ связокъ), до сихъ поръ трудно поддающихся экспериментальному изученію.

Другіе два элемента слова — символъ и значеніе —

связаны со звукомъ лишь условною ассоціаціею. Та дисциплина, которая занимается изученіемъ движенія значеній слова называется семасіологіею, или семантикой. Эта область до сихъ поръ разработана очень слабо: пока мы еще не вышли изъ періода собиранія матеріала. Попытки установить общіе законы перехода значеній до сихъ поръ нельзя назвать удачными: не удастся даже найти принципа для классификаціи наблюдаемыхъ переходовъ. Уже изъ тѣхъ примѣровъ измѣненія значенія слова, которые были приведены выше, видно, насколько прихотливы эти измѣненія: причины ихъ часто лежатъ въ культурныхъ условіяхъ жизни человѣка, а потому и изученіе этихъ явленій выходитъ за предѣлы науки о языкѣ въ тѣсномъ смыслѣ слова. Но, какъ-бы ни объяснялись переходы значеній въ отдѣльныхъ случаяхъ, мы не можемъ сомнѣваться въ томъ, что въ основѣ всѣхъ этихъ явленій лежитъ ассоціація звука съ представленіемъ; иначе говоря, всѣ эти явленія имѣютъ психологическую основу. Отсюда понятно, какое значеніе должна имѣть для языковѣда психологія, и въ особенности тотъ отдѣлъ ея, который занимается ассоціаціями. Языковѣду весьма важно установить ту сѣть ассоціацій, которая лежитъ въ основѣ cadaго отдѣльнаго языка, и эта задача отличаетъ языковѣда отъ психолога, интересующагося общими законами ассоціацій.

Такимъ образомъ двѣ науки оказываютъ языковѣду важныя услуги въ изученіи языка: фізіологія звука и психологія. Фізіологія звука изучаетъ внѣшнюю звуковую форму нашей рѣчи, а психологія уясняетъ ея внутреннюю сторону, ассоціаціи, лежащія въ основѣ той дѣятельности человѣка, которую мы называемъ рѣчью, или языкомъ. Прежде всего, поэтому, необходимо познакомиться съ основами фізіологіи звука. Ознакомленіе съ психологіею не входитъ въ нашу задачу: намъ придется ограничиться только изложеніемъ фактовъ психологіи языка.

### § 13. Физіологія звука <sup>1)</sup>.

Звуками называются тѣ слуховыя впечатлѣнія, которыя воспринимаетъ наше ухо изъ окружающаго насъ воздуха.

1) Для первоначальнаго ознакомленія съ фізіологіею звука можно рекомендовать слѣдующія пособия: Проф. В. А. Богородицкій. Опытъ фізіологіи общерусскаго произношенія въ связи съ экспериментально-фоне-

Для возникновенія звука необходимо, чтобы воздухъ былъ приведенъ въ колебательное движеніе: колебанія воздуха, достигая барабанной перепонки нашего уха, приводятъ её въ движеніе; эти движенія передаются слуховому нерву, и мы получаемъ впечатлѣніе звука. Периодически-правильныя колебанія воздуха, вызываемыя обыкновенно дрожаніемъ какого-либо эластичнаго тѣла, производятъ на наше ухо впечатлѣніе музыкальнаго звука; наоборотъ, шумомъ мы называемъ всякій такой звукъ, который вызывается неправильнымъ, беспорядочнымъ колебаніемъ воздуха.

Въ человѣческой рѣчи мы наблюдаемъ какъ музыкальные звуки, такъ и шумы. При этомъ обыкновенно человѣкъ пользуется тѣмъ потокомъ воздуха, который выталкивается изъ легкихъ, послѣ того какъ онъ отдалъ крови свой кислородъ. Хотя мы и можемъ производить различные звуки, вдыхая воздухъ, но обыкновенно звуки нашей рѣчи производятся вмѣстѣ съ выдыхомъ. Выдыхъ, производящій звуки нашей рѣчи, отличается отъ выдыха при свободномъ дыханіи только тѣмъ, что запасъ воздуха, забранный легкими при вдохѣ, расходуется не сразу, а раздѣляется по мѣрѣ надобности на части, которыя выходятъ изъ легкихъ нѣсколькими толчками.

Для возникновенія звука необходимо, чтобы воздухъ, выходящій изъ легкихъ, встрѣчалъ на своемъ пути какія-либо препятствія: при свободномъ дыханіи мы не слышимъ почти никакого звука, кромѣ слабаго шороха, происходящаго отъ тренія воздуха о стѣнки дыхательныхъ путей. Механизмъ возникновенія звука человѣческой рѣчи заключается въ томъ, что органы произношенія ставятъ на пути выдыхаемаго воздуха тѣ или иныя препятствія, которыя приводятъ проходящій воздухъ въ колебательныя движенія. Поэтому прежде всего необходимо разсмотрѣть устройство органовъ рѣчи человѣка.

Органы рѣчи человѣка состоятъ изъ 1) дыхательнаго аппарата, 2) гортани и 3) надставной трубы, состоящей въ свою очередь изъ двухъ частей: а) полости рта и б) полости носа.

тическими данными (съ рисунками). Казань 1909. О. Брокъ, Очеркъ физиологіи славянской рѣчи. СПб. 1910 (Энциклопедія слав. филол. V. 2). Проф. А. И. Томсонъ, Общее языковѣдніе. 2-ое изд. Одесса 1910, стр. 102—240. Otto Jespersen, Lehrbuch der Phonetik. Leipzig und Berlin. 1904.

Внѣшній воздухъ попадаетъ въ наши легкія черезъ дыхательные пути, представляющіе цѣлую систему различной величины трубокъ съ упругими стѣнками, называемыхъ бронхами. Бронхи представляютъ изъ себя развѣтвленія дыхательнаго горла или трахеи, которая раздѣляется сначала на два бронха, идущихъ одинъ въ правое, другой въ лѣвое легкое; эти бронхи въ свою очередь развѣтвляются въ цѣлую систему многочисленныхъ, все утончающихся бронховъ, которые пронизываютъ легкія по всѣмъ направленіямъ и распредѣляютъ въ нихъ вдыхаемый воздухъ.

Верхняя часть трахеи, нѣсколько расширенная, носить названіе гортани. Она состоитъ изъ системы различной формы хрящей, представляющихъ ея твердую основу. Въ гортани лежатъ голосовыя связки; онѣ состоятъ изъ покрытыхъ слизистой оболочкой мускуловъ, симметрично расположенныхъ горизонтально съ правой и съ лѣвой стороны внутри гортани, которая вслѣдствіе этого оказывается нѣсколько суженной. Голосовыя связки могутъ либо сближаться между собою, образуя полный затворъ или болѣе или менѣе широкую щель, либо расходиться, давая свободный проходъ воздуху. Вслѣдствіе своей эластичности и большой подвижности голосовыя связки способны производить довольно большое разнообразіе звуковъ.

Когда голосовая щель совершенно закрыта и голосовыя связки крѣпко сдвинуты между собою, то воздухъ черезъ гортань проходить не можетъ, и слѣдовательно, при этихъ условіяхъ не можетъ существовать никакого звука. Но, если при этомъ воздухъ, выходящій изъ легкихъ, силою своего давленія заставитъ голосовыя связки раздвинуться, то мы слышимъ болѣе или менѣе рѣзкій взрывъ. Звукъ такого взрыва рѣзче всего слышится при кашлѣ, но здѣсь онъ сопровождается еще и звукомъ, происходящимъ отъ дрожанія голосовыхъ связокъ. Слабѣе, но за то чище слышится онъ при произвольномъ покашливаніи. Въ рѣчи взрывъ голосовой щели слышится часто передъ начальнымъ гласнымъ слова. Повидимому, этотъ звукъ обозначали греки знакомъ легкаго придыханія. Въ нѣкоторыхъ языкахъ, какъ напр. въ датскомъ и латышскомъ, закрытіе голосовой щели со слѣдующимъ взрывомъ ея встрѣчается въ серединѣ слова при произнесеніи гласнаго звука. Такое произнесеніе гласнаго иногда назы-

вается прерывистымъ удареніемъ его; напр. датск. del [de'l] „часть“, латышск. tā [ta'] „такъ“.

Если голосовыя связи сближены, но не плотно прижаты другъ къ другу, то потокъ воздуха, выходящій изъ легкихъ, раздвигаетъ ихъ, нѣсколько приподымая ихъ кверху; но въ слѣдующій же моментъ, вслѣдствіе своей эластичности, онѣ снова принимаютъ то-же положеніе, пока воздухъ снова не подыметъ ихъ кверху; такимъ образомъ голосовыя связи приводятся въ дрожаніе и начинаютъ звучать. Этотъ звукъ мы называемъ голосомъ.

Голосъ представляетъ наиболѣе звучную сторону нашей рѣчи. Въ немъ, какъ и во всякомъ музыкальномъ звукѣ, мы различаемъ высоту, силу и окраску, или тембръ. Высота голоса зависитъ отъ частоты колебанія голосовыхъ связокъ: чѣмъ большее количество колебаній совершаютъ онѣ въ секунду, тѣмъ тонъ голоса выше. На высоту голоса вліяетъ природная величина голосовыхъ связокъ: у мужчинъ и у взрослыхъ голосовыя связки длиннѣе, чѣмъ у женщинъ и дѣтей, и потому голоса взрослыхъ и мужчинъ ниже дѣтскихъ голосовъ. Но кромѣ того голосовыя связки обладаютъ способностью въ различной степени напрягаться или ослабляться, вслѣдствіе чего въ предѣлахъ нормальнаго голоса возможны многочисленныя тоны различной высоты: чѣмъ болѣе напряжены голосовыя связки, тѣмъ выше тонъ голоса.

Сила голоса зависитъ отъ величины размаха (амплитуды) колебаній голосовыхъ связокъ: чѣмъ больше ихъ размахъ, тѣмъ громче звучитъ голосъ. Понятно, что это зависитъ главнымъ образомъ отъ силы выдыха: чѣмъ сильнѣе потокъ воздуха, тѣмъ энергичнѣе онъ колеблетъ голосовыя связки, тѣмъ, слѣдовательно, и громче звукъ.

Тембръ, или окраска голоса зависитъ отъ размѣровъ и формы того пространства, въ которомъ распространяются звуковыя волны, т. е. отъ тѣхъ полостей, которыя лежатъ выше гортани. Звукъ голоса резонируется въ полости рта и въ полости носа, и вслѣдствіе этого получаетъ различную окраску, смотря по положенію органовъ рѣчи въ этихъ полостяхъ. По аналогіи съ духовыми инструментами, эти полости носятъ названіе надставной трубы.

Разсмотримъ этихъ условій, вліяющихъ на измѣненіе

звука голоса, показываетъ, какое разнообразіе звуковъ могутъ дать голосовыя связки. Въ рѣчи мы мѣняемъ тонъ нашего голоса, придавая словамъ различные оттѣнки смысла, мѣняемъ силу звука, оттѣняя этимъ различныя части нашей рѣчи, наконецъ, мѣняя расположеніе органовъ рѣчи, модифицируемъ звукъ голоса и создаемъ цѣлый рядъ разнообразныхъ гласныхъ и согласныхъ звуковъ.

Но голосовыя связки, кромѣ голоса, могутъ производить еще и другіе звуки. Если онѣ дрожать не по всей своей длинѣ, а въ одной части остаются неподвижны, то получается особый видъ голоса, называемый фальсетомъ: фальсетъ, конечно, долженъ быть выше грудного голоса, производимаго тѣми же голосовыми связками.

Если голосовыя связки образуютъ небольшое отверстіе и при томъ сами напряжены настолько сильно, что потокъ воздуха не приводитъ ихъ въ колебаніе, то получается шорохъ, который мы называемъ шопотомъ. Такъ какъ шопотомъ мы можемъ произнести всѣ звуки, произносимые и обыкновеннымъ голосомъ, то, очевидно, и шопотъ допускаетъ всѣ тѣ модификаціи, которыя мы наблюдаемъ въ голосѣ; только измѣненія тона при этихъ условіяхъ, конечно, значительно ограничены.

Далѣе, голосовыя связки могутъ быть настолько широко раздвинуты, что потокъ воздуха, проходя между ними, производитъ лишь слабый шорохъ, который мы называемъ придыханіемъ.

Другія положенія голосовыхъ связокъ, при которыхъ воздухъ не производитъ почти никакого звука, въ нашей рѣчи никакой роли не играютъ.

Надставная труба раздѣляется на двѣ части: полость рта и полость носа. Границу между ними составляетъ мягкое небо или небная занавѣска, которая способна подыматься и опускаться. Когда небная занавѣска свободно опущена то она оставляетъ открытую полость носа, куда изъ легкихъ свободно можетъ прсходить выдыхаемый воздухъ. Если же небная занавѣска поднята, то она, прикасаясь къ задней стѣнкѣ зѣва, закрываетъ полость носа, и тогда воздухъ можетъ выходить только черезъ полость рта. Такъ какъ полость носа не имѣетъ подвижныхъ частей и не можетъ поэтому произвольно измѣнять своей формы, то она

участвуетъ въ созданіи звука только вся цѣликомъ, и участіе ея заключается только въ томъ, что волны звука проходятъ черезъ неѣ и въ ней получаютъ особую окраску; тѣ звуки, которые производятся при участіи носовой полости, называются носовыми. Для возникновенія носовыхъ звуковъ необходимо, слѣдовательно, чтобы небная занавѣска была опущена.

Полость рта заключаетъ въ себѣ нѣсколько подвижныхъ частей, которыя даютъ возможность въ различныхъ отношеніяхъ мѣнять ея объемъ и форму, и такимъ путемъ образовывать большое разнообразіе звуковъ. Прежде всего нижняя челюсть, подымаясь и опускаясь, въ значительныхъ предѣлахъ можетъ мѣнять объемъ полости рта, но эти движенія она совершаетъ обыкновенно въ связи съ движеніями другихъ органовъ, напр. губъ и языка.

Губы, верхняя и нижняя, обыкновенно двигаются одновременно и симметрично; но нижняя губа иногда артикулируетъ самостоятельно. Прежде всего губы могутъ образовывать полный затворъ, если онѣ прижимаются одна къ другой. Такой затворъ мы наблюдаемъ, напр., при произнесеніи звука **м**. Если губы раздвинуты, то онѣ могутъ принимать различныя положенія, которыя можно отличать по образуемому ими отверстию рта: оно можетъ быть круглымъ, когда обѣ губы сложены симметрично желобомъ, или представлять изъ себя щель, когда углы губъ растянуты въ стороны. Въ первомъ случаѣ губы не только складываются желобомъ, но и вытягиваются впередъ; во второмъ, онѣ обыкновенно стоятъ ближе къ зубамъ. Вытянутыя и округленныя губы мы наблюдаемъ при произнесеніи звука **у**, наоборотъ, при звукѣ **и** углы губъ растянуты въ стороны. Легче всего замѣтить эту разницу въ положеніи губъ, если произносить рядомъ звукъ **у** и звукъ **и**.

Нижняя губа, болѣе свободная въ своихъ движеніяхъ, можетъ прикладываться также къ верхнимъ зубамъ. Такое положеніе ея мы наблюдаемъ при произнесеніи звука **в**. Въ такомъ случаѣ полного затвора полости рта произвести невозможно, такъ какъ между зубами всегда есть отверстія, черезъ которыя проходитъ воздухъ. Обыкновенно при такой артикуляціи шорохъ проходящаго воздуха и составляетъ существенную сторону производимаго звука.

Непосредственно за губами, внутри полости рта, находятся два ряда зубовъ: верхніе и нижніе. Если мы будемъ двигать кончикомъ языка по верхней внутренней стѣнкѣ полости рта, начиная отъ зубовъ, то прежде всего встрѣтимъ десну, соотвѣтствующую тому мѣсту, гдѣ находятся корни зубовъ: это область альвеоль, въ которыхъ сидятъ своими корнями верхніе зубы. Далѣе мы встрѣчаемся съ небольшимъ возвышеніемъ, которое составляетъ границу между областью альвеоль и твердымъ небомъ. Твердое небо далѣе переходитъ въ мягкое небо, или небную занавѣску, которая двумя дугами опускается къ корню языка и заканчивается въ средней своей части язычкомъ, называемымъ по-латыни uvula („виноградка“). Всю нижнюю челюсть, отъ нижнихъ зубовъ до гортани заполняетъ языкъ, органъ состоящій изъ цѣлой системы мускуловъ, которые придаютъ ему большую подвижность и позволяютъ принимать разнообразныя формы. У корня языка лежитъ надгортанникъ, хрящъ, который закрываетъ отверстіе гортани въ то время, когда при глотаніи пища проходитъ въ пищеводъ, лежащій позади дыхательнаго горла (трахеи). Надгортанникъ въ произнесеніи звуковъ не играетъ никакой роли.

Такимъ образомъ объемъ и форма полости рта можетъ измѣняться въ зависимости отъ движенія нижней челюсти, языка и небной занавѣски. Движенія нижней челюсти, какъ уже было упомянуто, обыкновенно стоятъ въ связи съ движеніями языка: когда языкъ долженъ занять низкое положеніе, то при этомъ обыкновенно нѣсколько опускается и нижняя челюсть и наоборотъ, она нѣсколько подымается, когда языкъ подымается всею своею массою кверху.

Наибольшую подвижностью отличается языкъ. Обыкновенно для разсмотрѣнія движеній языка, его дѣлятъ на три области: переднюю, среднюю и заднюю. Передняя часть языка отличается наибольшою подвижностью: она можетъ далеко выдвигаться впередъ изъ рта, при чемъ кончикъ языка можетъ либо заостряться, либо распластываться тонкимъ слоемъ, либо ложкою загигаться кверху или книзу. Разнообразіе движеній кончика языка знакомо каждому изъ насъ по тѣмъ положеніямъ языка, которыя онъ принимаетъ, стараясь удалить застрявшія между зубами частицы пищи: въ такихъ случаяхъ языкъ распоряжается и справа и слѣва,

обходя зубы и съ наружной и съ внутренней стороны. Но изъ всѣхъ этихъ движеній для насъ важны только тѣ, которыя языкъ совершаетъ, участвуя въ произношеніи звуковъ. Кончикъ языка, прежде всего, можетъ занимать положеніе между зубами (интердентальная артикуляція); такъ какъ между зубами всегда есть отверстія, то полного затвора при этомъ не образуется и шорохъ проходящаго воздуха является характерной чертою происходящаго звука. Такъ артикулируется иногда англійское **th**. Гораздо обынѣе то положеніе языка, когда кончикъ его прикладывается къ задней поверхности зубовъ (зубные звуки) или нѣсколько дальше къ корнямъ зубовъ, иначе къ области альвеоль (альвеолярная артикуляція). Такую артикуляцію мы наблюдаемъ обыкновенно при произнесеніи звука **h**. Кончикъ языка можетъ подыматься и выше, прикладываясь къ тому возвышенію, которое составляетъ границу между альвеолами и твердымъ небомъ. Въ этомъ положеніи кончикъ языка потокомъ воздуха можетъ быть приведенъ въ дрожаніе: воздухъ отбрасываетъ его впередъ, но онъ снова приходитъ въ прежнее положеніе до новаго толчка. Это колебаніе кончика языка производитъ рокотъ, который является существенной характеристикой нашего обычнаго **r**. Если кончикъ языка подымается еще выше и прикладывается къ твердому небу, то производимые такой артикуляціей звуки по своимъ акустическимъ свойствамъ нѣсколько отличаются отъ зубныхъ и альвеолярныхъ; ихъ называютъ церебральными, а иногда какъ минимальными звуками. Эти звуки существуютъ въ санскритскомъ языкѣ (**ṭ**, **ḍ**, **ṅ**), а иногда наблюдаются и въ англійскомъ. Надо замѣтить, что языкъ во всѣхъ этихъ положеніяхъ можетъ не производить полного затвора, а только приближаться къ указаннымъ неподвижнымъ частямъ полости рта. Въ такихъ случаяхъ звуки характеризуются тѣми шорохами, которые производитъ воздухъ въ узкихъ промежуткахъ между языкомъ и неподвижною частью полости рта. Такіе звуки носятъ названіе спирантовъ. Если кончикъ языка въ средней своей части складывается желобкомъ и приближается къ альвеоламъ, то образуется звукъ **s** [s]. Если отверстіе, образуемое языкомъ, болѣе похоже на щель и языкъ приближается къ границѣ твердаго неба, то происходящій шорохъ характеризуетъ звукъ

ш [š]. Звуки с и ш могут образовываться въ разныхъ мѣстахъ полости рта и соотвѣтственно мѣнять свой акустическій характеръ, но всегда сохраняется разница въ положеніи языка — желобокъ при с и продолговатая щель при ш.

Средняя и задняя часть языка менѣе подвижны и обыкновенно артикулируютъ, приближаясь или прикладываясь къ противулежащимъ частямъ полости рта. Средняя часть языка подымается или прикладывается къ твердому небу, а корень языка — къ мягкому небу, или небной занавѣскѣ. Въ послѣднемъ случаѣ, такъ какъ небная занавѣска сама способна двигаться, мы встрѣчаемся съ координаціей движеній этихъ двухъ органовъ. Если небная занавѣска должна быть еще и опущена, то корень языка подымается настолько, чтобы небная занавѣска могла лечь на него. Такую артикуляцію мы наблюдаемъ при произношеніи того нѣмецкаго *n*, которое стоитъ передъ звуками *k* или *g* (Enkel, Engel). Если же небная занавѣска должна быть поднята, чтобы закрыть полость носа, то корень языка долженъ подняться еще выше и прижать небную занавѣску къ задней стѣнкѣ зѣва. Такая артикуляція наблюдается при произнесеніи звука *k*.

Наконецъ, маленькій язычекъ, которымъ оканчивается небная занавѣска, тоже можетъ участвовать вмѣстѣ съ языкомъ въ артикуляціи одного звука, именно такъ называемаго увулярнаго *r* (отъ *uvula* „язычекъ“): корень языка подымается кверху, въ средней части его образуется желобокъ, въ который и ложится язычекъ; выдыхаемый воздухъ приводитъ язычекъ въ дрожаніе, и происходящій отъ этого рокоть напоминаетъ нѣсколько рокоть нашего обычнаго *r*. Есть лица, которыя не могутъ произнести наше обыкновенное *r* и замѣняютъ его увулярнымъ. Но въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Германіи, Франціи увулярное *r* является нормальномъ типомъ звука *r*.

Ознакомившись въ общихъ чертахъ со строеніемъ органовъ рѣчи и ихъ движеніями, мы должны перейти теперь къ разсмотрѣнію отдѣльныхъ звуковъ въ челоѳческой рѣчи.

Прежде всего нужно замѣтить, что провести границу между отдѣльными звуками нашей рѣчи не всегда возможно: положеніе органовъ рѣчи, когда мы говоримъ, непрерывно мѣняется, и теоретически каждому положенію соотвѣтствуетъ и особый звукъ; теоретически, слѣдовательно, звуковъ въ

нашей рѣчи безконечное, необозримое множество. Однако въ каждомъ языкѣ существуетъ своя система звуковъ, которые каждый говорящій привыкъ воспринимать, какъ отдѣльные звуки, не останавливаясь на переходныхъ звукахъ, стоящихъ въ полной зависимости отъ движеній органовъ рѣчи, необходимыхъ при переходѣ отъ одной артикуляціи къ другой. Отдѣльные звуки отличаются такимъ образомъ отъ переходныхъ только своей большей длительностью, между тѣмъ какъ переходные звуки непрерывно мѣняются. Тѣмъ не менѣе бываютъ такіе случаи, когда переходные звуки даютъ поводъ къ возникновенію отчетливо артикулируемыхъ отдѣльных звуковъ.

Далѣе, хотя наша рѣчь и состоитъ главнымъ образомъ изъ звуковъ, но въ ней встрѣчаются и полныя остановки потока воздуха, когда звука никакого быть не можетъ. Такія паузы, противопоставляясь звукамъ, играютъ въ нашей рѣчи существенную роль наравнѣ со звуками, такъ что мы могли бы назвать паузы звуками нулевой звучности. Это до такой степени справедливо, что удлиненная пауза обыкновенно передается на письмѣ удвоеніемъ буквы; такъ напр. если мы сравнимъ русское слово от́ава со словомъ оттогó, то увидимъ, что двойное написаніе буквы т обозначаетъ только удлиненіе паузы. Кромѣ того такія паузы имѣютъ и различную звуковую окраску въ зависимости отъ того, какія органы производятъ остановку потока воздуха. Если, напр., пауза производится затворомъ губъ, то мы обыкновенно на слухъ отличаемъ, что эта пауза губная; это объясняется тѣмъ, что мы слышимъ тѣ переходные звуки, которые необходимы для артикуляціи губной паузы.

Послѣ паузы мы обыкновенно слышимъ такъ называемый взрывной звукъ. Такъ какъ потокъ воздуха обыкновенно не прерывается въ теченіе нашей рѣчи, то затворъ, останавливающий воздухъ, увеличиваетъ его давленіе на стѣнку затвора и, когда затворъ устраняется, воздухъ устремляется впередъ нѣсколько болѣе энергичнымъ толчкомъ. Звукъ этого толчка мы называемъ взрывомъ. Онъ мѣняетъ свой акустическій характеръ въ зависимости отъ мѣста образованія затвора: взрывъ можетъ быть гортанный, если затворъ образуютъ голосовыя связки (это греческое легкое придыханіе, см. выше стр. 64), губной, альвеолярный и т. д.

Разсматривая движенія органовъ рѣчи, мы видѣли, что они, производя звукъ, могутъ либо образовывать полный затворъ, либо только суженіе, либо широко расходиться, оставляя свободный проходъ воздуху. Эти положенія органовъ рѣчи особенно характерны для полости рта. Если полость рта широко открыта, то она можетъ служить только резонирующимъ пространствомъ, и оказывать вліяніе на окраску звука; самый звукъ при этомъ обыкновенно производится дрожаніемъ голосовыхъ связокъ, иначе слышится только слабый звукъ дыханія. Когда въ полости рта образуется суженіе, то воздухъ, проходя черезъ него, производитъ шорохъ: звукъ, возникающій такимъ образомъ, называется спирантомъ (ср. выше стр. 69). Если же въ полости рта гдѣ-нибудь образуется полный затворъ, то наступаютъ тѣ условія, которыя необходимы для образованія паузы. Но пауза можетъ произойти только въ томъ случаѣ, если и полость носа закрыта; если же она открыта (т. е. небная занавѣска опущена), то потокъ воздуха находитъ свободный выходъ черезъ носъ и паузы не бываетъ. Такимъ образомъ полный затворъ полости рта можетъ произвести звукъ только при опущенной небной занавѣскѣ; но тотъ же затворъ, при поднятой небной занавѣскѣ, является необходимымъ условіемъ возникновенія взрывнаго звука.

Такъ какъ небная занавѣска имѣетъ движенія, независимыя отъ движенія языка и нижней челюсти, то при всякой артикуляціи полости рта, она можетъ быть поднята или опущена. Въ послѣднемъ случаѣ она увеличиваетъ резонирующую область, давая доступъ воздуху въ полость носа; всѣ звуки, произносимые при участіи полости носа, т. е. при опущенной небной занавѣскѣ носятъ названіе носовыхъ.

Такимъ образомъ, если принять во вниманіе тройкую артикуляцію полости рта: 1) открытое положеніе ея, 2) суженіе и 3) затворъ и двоякое положеніе небной занавѣски, когда она бываетъ 1) поднята или 2) опущена, при чемъ мы оставляемъ пока въ сторонѣ артикуляцію гортани и губъ, то мы получимъ шесть разрядовъ звуковъ, которые можно наглядно размѣстить въ слѣдующей таблицѣ:

Полость рта	Небная занавѣска	
	поднята	опущена
открыта	гласные, плавные	носовые гласные носовые плавные
сужена	спиранты	носовые спиранты
закрыта	взрывные	носовые смычные

Звуки, произносимые при широкомъ проходѣ воздуха, почти всегда сопровождаются голосомъ, такъ какъ безъ участія голоса потокъ воздуха проходитъ почти беззвучно. Однако такъ какъ при плавныхъ полость рта сужена болѣе, чѣмъ при гласныхъ, то плавные уже могутъ быть слышны и безъ участія голоса. Такіе глухіе плавные *г* и *л* встрѣчаются довольно часто, особенно въ сосѣдствѣ съ другими глухими звуками. Но вообще какъ правило можно принять, что гласные, плавные и носовые смычные сопровождаются звучаніемъ голоса т. е. обыкновенно бываютъ звонкими. Остальные звуки, спиранты и взрывные, могутъ сопровождаться звучаніемъ голоса, и тогда они называются звонкими, но могутъ произноситься и безъ участія голосовыхъ связокъ, и тогда ихъ называютъ глухими.

Въ нашей таблицѣ оставлена также въ сторонѣ артикуляція губъ, которая могутъ двигаться въ значительной мѣрѣ независимо отъ движеній другихъ органовъ рѣчи. Особенно важную роль играютъ губы при произнесеніи гласныхъ звуковъ: вытягиваясь впередъ и округляясь, онѣ придаютъ звуку особую окраску, которая яснѣе всего слышна въ гласныхъ звукахъ; но и другіе звуки, допускающіе артикуляцію губъ, тоже способны принимать такую губную окраску, или лабиализоваться. Лабиализація особенно ясно слышна при произнесеніи звука *с*, если при этомъ двигать губы, то выпячивая ихъ впередъ и округляя, то растягивая углы губъ.

Обзоръ отдѣльныхъ звуковъ мы начнемъ съ согласныхъ, образуемыхъ при закрытой полости рта, т. е. съ взрывныхъ звуковъ. Такъ какъ во время затвора полости рта, при поднятой небной занавѣскѣ, воздухъ не можетъ вовсе выходить наружу, то и голосъ при этомъ не можетъ звучать такъ

свободно и ясно, какъ при открытой полости рта. Поэтому при взрывныхъ звонкихъ звукахъ голосъ имѣеть глухой, притупленный звукъ: голосовыя связки приводятся въ колебаніе притекающимъ къ мѣсту затвора воздухомъ, давленіе котораго повышается передъ моментомъ взрыва.

Губо-губной затворъ при поднятой небной занавѣскѣ даетъ глухой взрывной звукъ **п** и звонкій — **б**; они обыкновенно называются для простоты губными звуками. Если небная занавѣска при тѣхъ же условіяхъ опущена, то воздухъ свободно проходитъ черезъ полость носа, губного взрыва при этомъ не бываетъ и получается губной носовой звукъ **м**. Глухой звукъ **м** встрѣчается очень рѣдко, такъ какъ онъ почти не слышенъ; обычная форма звука **м** есть звонкая его равновидность. Надо замѣтить вообще относительно всѣхъ губныхъ звуковъ, что ихъ оттѣнокъ можетъ значительно мѣняться въ зависимости отъ положенія языка въ полости рта: если языкъ занимаетъ высокое положеніе, приближаясь къ твердому небу, то губные звуки принимаютъ особый оттѣнокъ, который называютъ палатальностью, или мягкостью; а самый процессъ такого измѣненія называютъ палатализаціею, или смягченіемъ. Въ нашемъ случаѣ получаются палатализованные (или смягченные) губные звуки: **п'**, **б'**, **м'**, которые слышатся ясно въ слогахъ: **пи, би, ми**. Палатализація, какъ увидимъ, встрѣчается и въ другихъ звукахъ, артикуляція которыхъ допускаетъ поднятіе спинки языка къ твердому небу.

Альвеолярный затворъ, образуемый кончикомъ языка съ корнями верхнихъ зубовъ, даетъ два взрывныхъ альвеолярныхъ, или зубныхъ звука: глухой **т** и звонкій **д**. При опущенной небной занавѣскѣ получается альвеолярный, или зубной носовой **н**. И здѣсь возможно смягченіе: **т'**, **д'**, **н'**, ясно слышное въ слогахъ: **ти, ди, ни**. При этомъ надо замѣтить, что языкъ, подымаясь къ твердому небу, естественно увеличиваетъ и ту область затвора, которую онъ же образуетъ своимъ кончикомъ съ альвеолами.

Если кончикъ языка образуетъ полный затворъ еще выше, въ началѣ твердаго неба, то при взрывѣ такого затвора образуются такъ называемые **церебральные** взрывные звуки: глухой **ṭ** и звонкій **ḍ**. Звуки эти извѣстны изъ санскритскаго языка и индійскихъ нарѣчій и очень рѣдки въ

европейскихъ языкахъ. Носовой звукъ образуемый при томъ же затворѣ **п** встрѣчается также въ санскритѣ.

Если средняя часть спинки языка образуетъ затворъ съ твердымъ небомъ, то получаютъ палатальные звуки: два взрывныхъ — глухой **к'** и звонкій **г'** и соотвѣтствующій носовой **ñ**. Взрывные палатальные звуки ясно слышатся въ сочетаніяхъ **ки, ги**. Палатальнаго **ñ** русскій языкъ не знаетъ; по акустическимъ своимъ качествамъ онъ очень близокъ къ палатализованному **н'**.

Наконецъ, корень языка можетъ образовать съ небной занавѣской велярный затворъ, который даетъ два велярныхъ взрывныхъ звука: глухой **к** и звонкій **г**, и велярный носовой **ñ**. Послѣдній звукъ въ русскомъ не встрѣчается, но онъ слышится въ нѣмецкомъ передъ **к** и **г**, напр., въ словахъ *Enkel Engel* (ср. стр. 70).

Въ тѣхъ же мѣстахъ, въ которыхъ образуется затворъ полости рта, можетъ быть образовано тѣми-же органами и суженіе. Воздухъ, проходящій черезъ такое суженіе, производитъ шорохъ, и такіе шороховые звуки обыкновенно называются **спирантами** (см. стр. 69 и 72). Спиранты могутъ быть также глухими и звонкими: въ послѣднемъ случаѣ потокъ воздуха сначала долженъ привести въ дрожаніе голосовыя связки и потому достигаетъ мѣста суженія уже нѣсколько ослабленный; поэтому при прочихъ равныхъ условіяхъ шорохъ глухого спиранта сильнѣе шороха звонкаго спиранта.

Губо-губные спиранты **ф** и **в** встрѣчаются сравнительно рѣдко; обыкновенно губо-губная артикуляція замѣняется губо-зубной, какъ болѣе легкой и удобной, такъ какъ обыкновенно верхніе зубы нѣсколько выдвигаются сравнительно съ нижними зубами, и самага незначительнаго движенія достаточно, чтобы нижняя губа прикоснулась къ верхнимъ зубамъ. Наши **ф** и **в** — губо-зубные спиранты; они способны также палатализоваться или смягчаться въ **ф'** и **в'**; мягкіе **ф** и **в** ясно слышатся въ слогахъ **фи** и **ви**.

Интердентальными спирантами называются шороховые звуки, происходящіе въ томъ случаѣ, если кончикъ языка лежитъ между верхними и нижними зубами: такъ произносится иногда англійское **th**, при чемъ звукъ обозначаемый этими двумя знаками въ однихъ случаяхъ бываетъ глухой (**ḥ**) въ другихъ звонкій (**ṭh**).

Альвеолярные спиранты по мѣсту образованія суженія соотвѣтствуютъ альвеолярнымъ взрывнымъ звукамъ, съ тою только разницею, что для образованія суженія кончикъ языка можетъ и не подыматься такъ высоко, какъ онъ подымается, образуя затворъ. Но здѣсь нужно различать еще и форму, въ какую складывается языкъ. Если онъ приближается къ альвеоламъ равномерно на всемъ ихъ протяженіи, то получаются зубные спиранты **ћ** (глухой) и **й** (звонкій), очень похожіе на интердентальные спиранты. Если же языкъ при этомъ складывается желобомъ, то получаются свистящіе спиранты **с** (глухой) и **з** (звонкій). Если, наконецъ, языкъ образуетъ болѣе широкое овальное отверстіе, то получаются шипящіе спиранты **ш** (глухой) и **ж** (звонкій). Надо замѣтить, что свистящіе и шипящіе спиранты способны также палатализироваться и превращаться въ мягкіе **с'**, **з'**, **ш'**, **ж'**. Первые два изъ нихъ постоянно встрѣчаются въ русскомъ языкѣ въ сочетаніяхъ **си**, **зи**; **ш** и **ж** въ современномъ русскомъ языкѣ — звуки твердые, чѣмъ и объясняется, что звукъ **и** слышится послѣ нихъ какъ **ы**. Тѣмъ не менѣе мягкое **ш'** входитъ въ составъ сложныхъ звуковъ **ч** и **щ**, напр. въ сочетаніяхъ **чи**, **щи** (здѣсь наоборотъ русское произношеніе не допускаетъ звука **ы** вмѣсто **и**); мягкое **ж'** тоже встрѣчается, какъ составная часть сложнаго звука, который можно назвать звонкимъ **щ** и который обыкновенно обозначается сочетаніемъ **жж**, напр. въ словахъ **дрожжи**, **вожжи**, произносимыхъ какъ **дрож'дж'и**, **вож'дж'и**.

Изъ церебральныхъ спирантовъ извѣстенъ только шипящій спирантъ **ш**, встрѣчающійся въ санскритскомъ языкѣ.

Палатальные спиранты: глухой **х'** и звонкій **ж'** обычны въ русскомъ языкѣ, при чемъ первый изъ нихъ встрѣчается, напр., въ сочетаніи **хи**, а второй часто передъ гласными, напр., въ словѣ **ихъ** (произносится: **жих**). Въ русскомъ алфавитѣ для обозначенія звонкаго палатальнаго спиранта нѣтъ особаго знака, такъ что въ иныхъ случаяхъ онъ вовсе не обозначается на письмѣ, а въ другихъ — обозначается различными знаками, напр. **ъ**, **ь** (**объѣхатъ**, **бью**). Въ нѣмецкомъ языкѣ глухой палатальный спирантъ наблюдается послѣ звука **i** напр. въ словѣ **ich**, а звонкій **j** обыкновенно артикулируется очень энергично, такъ что спирантический шорохъ слышится довольно ясно.

Велярные спиранты: глухой *x* и звонкій *g* въ русскомъ языкѣ встрѣчаются не одинаково часто: гдухой *x* — весьма обычный звукъ, но звонкій *g* встрѣчается только въ исключительныхъ случаяхъ: богатый, бога. Таково обычное произношеніе *g* въ малорусскомъ языкѣ и въ нѣкоторыхъ великорусскихъ говорахъ.

Если при спирантической артикуляціи полости рта небная занавѣска опущена, то соотвѣтствующій спирантъ принимаетъ носовую окраску. Такіе носовые спиранты встрѣчаются въ американскомъ говорѣ англійскаго языка, но и тамъ являются не самостоятельными звуками, а стоятъ въ связи съ общою склонностью американцевъ къ носовому произношенію, физиологически объясняемому вялостью движеній небной занавѣски.

Плавные звуки *p* и *l* представляютъ слѣдующую послѣ спирантовъ ступень открытаго положенія полости рта. Если плавные звуки мы отдѣляемъ отъ спирантовъ, то это дѣлается потому, что въ ихъ произношеніи по большей части шороха не слышно или онъ играетъ второстепенную роль, не составляя существенной характеристики звука. Такъ какъ полость рта при этихъ звукахъ играетъ роль главнымъ образомъ резонирующаго пространства, то обыкновенно въ основѣ плавныхъ звуковъ лежитъ голосъ, слѣдовательно обычными формами плавныхъ являются звонкіе плавные звуки. Соотвѣтствующія имъ глухія разновидности не имѣютъ самостоятельнаго значенія и встрѣчаются обыкновенно лишь въ содѣйствіи съ другими глухими звуками.

Звукъ *p* въ русскомъ нормальномъ произношеніи является звукомъ альвеолярнымъ, такъ какъ кончикъ языка прикладывается къ альвеоламъ или немного выше къ границѣ твердаго неба. Характернымъ для русскаго *p* признакомъ является рокоть, производимый дрожаніемъ кончика языка. Звукъ *p* можетъ палатализироваться, при чемъ приподнятая спинка языка, затрудняетъ дрожаніе кончика языка, нѣсколько укорачивая его. Поэтому количество ударовъ кончика языка при мягкомъ *p'* бываетъ обыкновенно меньше, нежели при твердомъ *p* (при прочихъ равныхъ условіяхъ). Повидимому, это обстоятельство въ польскомъ языкѣ повело къ совершенному устраненію рокота въ мягкомъ *p'*, которое и превратилось въ спирантъ, обозначаемый знакомъ *rz*. Фонети-

чески этотъ знакъ надо толковать, какъ шипящій звонкій спирантъ при положеніи языка, какъ при звукѣ *г'* (почти совпадаетъ съ русскимъ *ж*).

Рокоть, составляющій характерную особенность звука *р*, повидимому, представляетъ нерѣдко затрудненіе въ произношеніи: дѣти выучиваются этому звуку обыкновенно позднѣе всѣхъ другихъ звуковъ, а иногда и вовсе не научаются его произносить. Трудностью этого звука объясняется то обстоятельство, что вмѣсто альвеолярнаго *р* многіе произносятъ другіе звуки. Самою распространенною замѣною альвеолярнаго *р* является увулярное *р* (см. выше стр. 70), гдѣ дрожаніе кончика языка замѣняется дрожаніемъ язычка (*uvula*). Во многихъ мѣстахъ увулярное *р* является нормальной формой артикуляціи этого звука. Дрожаніе кончика языка или язычка въ нѣкоторыхъ артикуляціяхъ звука *г* устраняется: въ первомъ случаѣ получается передне-язычное *г* безъ дрожанія языка: это — обычное англійское *г*; во второмъ случаѣ получается звонкій задне-язычный или веллярный спирантъ, замѣняющій звукъ *г*; такъ часто произносятъ *г* лица, неумѣющія правильно его артикулировать.

Другой плавный звукъ *л* образуется при помощи альвеолярнаго затвора, но при этомъ остается свободный проходъ для воздуха съ боковъ между краями языка, зубами и щеками. Воздухъ можетъ проходить либо одновременно съ обѣихъ сторонъ, либо только съ одной стороны. Это однако не оказываетъ вліянія на акустическій характеръ звука. Гораздо большее значеніе имѣетъ положеніе языка: звукъ *л* способенъ палатализироваться. Наибольшая степень мягкости наблюдается въ русскомъ мягкомъ *л'*, которое слышится въ сочетаніи *ли*. Русское твердое *л* (польское *ł*) отличается тѣмъ, что корень языка подымается къ мягкому небу, а кончикъ языка выгибается ложкой. Въ различныхъ языкахъ существуютъ различные промежуточные оттѣнки этихъ главныхъ типовъ плавнаго *л*.

Носовыя и глухія разновидности плавныхъ не имѣютъ самостоятельнаго значенія, а встрѣчаются иногда только подъ вліяніемъ сосѣднихъ звуковъ.

Все разнообразіе гласныхъ звуковъ зависитъ отъ комбинацій положеній органовъ рѣчи въ надставной трубѣ, которая при этомъ играетъ роль исключительно резонирую-

щаго пространства. Объемъ и форма полости рта измѣняется главнымъ образомъ отъ движенія языка и губъ. Такъ какъ губы дѣйствуютъ независимо отъ языка, то каждому положенію языка можетъ соотвѣтствовать и лабиализованный и нелабиализованный гласный. Разнообразіе ихъ увеличивается еще и потому, что лабиализація сама можетъ быть различна въ зависимости отъ большаго или меньшаго округленія губъ.

При самомъ высокомъ положеніи языка, когда онъ своею спинкою приближается къ твердому небу (при чемъ однако суженіе не должно вызывать спирантического шороха) образуется узкій гласный *и*, если углы губъ растянуты. При тѣхъ же условіяхъ, когда разстояніе спинки языка отъ твердаго неба нѣсколько увеличивается, мы получаемъ широкій звукъ *и*, котораго великорусскій языкъ не знаетъ, но который извѣстенъ малорусскому языку, отличающему узкое *і* отъ широкаго *и*; напр. віра „вѣра“, калина. Въ нѣмецкомъ языкѣ долгое *ie* обыкновенно бываетъ узкимъ, между тѣмъ какъ краткое *i* обыкновенно широкое (ср. напр. слово *Miete* „наемъ“ съ предлогомъ *mit* „съ“). Если къ каждой изъ артикуляцій этихъ двухъ звуковъ присоединится округленіе губъ (лабиализація), то получатся два звука *ü*, которые различаются въ нѣмецкомъ языкѣ, напр. въ словахъ *über* и *Sünde*.

Если языкъ опускается еще одною ступенью ниже, то получается узкій звукъ *е*, который при еще болѣе низкомъ положеніи языка превращается въ широкое *е*. Разницу между этими двумя звуками знаетъ и русскій языкъ, хотя на письмѣ онъ ихъ не различаетъ; такъ напр. въ словахъ *мѣръ* и *вѣръ* слышится болѣе широкое *е*, нежели въ словахъ *мѣрь* и *вѣрь* (*ѣ* и *е* въ русскомъ языкѣ обозначаютъ одинаковые звуки). Лабиализованныя разновидности тѣхъ же звуковъ извѣстны въ нѣмецкомъ языкѣ, напр. въ словахъ *schön* и *öffnen*.

Еще болѣе широкій звукъ *э* получается при еще болѣе низкомъ положеніи языка. Въ великорусскомъ нарѣчьи звукъ этотъ извѣстенъ только въ мѣстоименіи *этотъ*, въ нѣкоторыхъ междометіяхъ и въ иностранныхъ словахъ, но въ малорусскомъ такъ произносится всякое *е*. Еще болѣе широкое *æ*, близкое къ *а*, существуетъ въ англійскомъ и въ другихъ языкахъ; въ англійскомъ этотъ звукъ обозначается знакомъ *a* въ словахъ *man*, *had* и др.

Лабіалізованное э встрѣчается во французскомъ языкѣ, напр. въ словѣ *re u g*.

При наиболѣе низкомъ положеніи языка образуются звуки *a*, которые также могутъ имѣть различные оттѣнки.

Если корень языка нѣсколько подымается къ мягкому небу, при чемъ нѣсколько округляются губы, то получается звукъ *o*. Онъ можетъ быть широкій и узкій. Въ послѣднемъ случаѣ онъ приближается въ акустическомъ отношеніи къ звуку *u*, который образуется при самомъ высокомъ поднятіи корня языка къ мягкому небу и при энергичномъ округленіи губъ.

Нужно отмѣтить еще артикуляцію русскаго *ы*, которое образуется почти при томъ же положеніи языка, какъ и при звукѣ *u*, только при растянутыхъ углахъ губъ. Поэтому звукъ *у* можно назвать лабіализованнымъ *ы*.

Разсмотрѣвши отдѣльные звуки, мы необходимо должны сдѣлать нѣсколько замѣчаній о такъ называемыхъ сложныхъ звукахъ. Всѣ составныя части сложныхъ звуковъ уже отмѣчены нами въ предыдущемъ изложеніи, и если здѣсь приходится говорить еще особо о сложныхъ звукахъ, то это вызывается тѣмъ обстоятельствомъ, что нѣкоторые элементарные звуки, постоянно соединяясь съ другими звуками, производятъ на насъ, въ этихъ сочетаніяхъ, впечатлѣніе отдѣльныхъ звуковъ. Исторія такихъ звуковъ въ различныхъ языкахъ показываетъ, что и судьба ихъ во многомъ напоминаетъ судьбу отдѣльныхъ звуковъ, такъ что весьма полезно разсмотрѣть нѣкоторые изъ такихъ сложныхъ звуковъ.

Къ сложнымъ звукамъ относятся прежде всего такъ называемые *придыхательные* звуки. Они состоятъ изъ обычныхъ взрывныхъ звуковъ со слѣдующимъ *придыханіемъ* (см. выше стр. 66). *Придыханіе* возникаетъ здѣсь потому, что голосовыя связки послѣ взрыва не сразу принимаютъ такое положеніе, которое необходимо для образованія голоса. Изъ этого видно, что *придыханіе* возникаетъ обыкновенно передъ гласнымъ звукомъ и не бываетъ передъ согласнымъ. Обыкновенно *придыханіе* обозначаютъ знакомъ *h* послѣ взрывнаго звука: *ph*, *th*, и т. д. Нѣсколько загадочнымъ является *придыханіе* послѣ звонкихъ взрывныхъ звуковъ, такъ какъ *голосъ*, хотя и слабѣе, но все же звучитъ уже при звонкомъ взрывномъ звукѣ. Поэтому либо приходится допустить въ этомъ случаѣ существованіе „звонкаго *приды-*

ханія“, природа котораго намъ не совсѣмъ ясна, либо необходимо признать, что для артикуляціи придыханія голосовыя связки на короткое время прерываютъ свою артикуляцію. Во всякомъ случаѣ звонкіе придыхательные встрѣчаются въ ново-индійскихъ діалектахъ и въ санскритѣ, и ихъ существованіе предполагается съ большою вѣроятностью и въ первоначальномъ индо-европейскомъ языкѣ.

Сложными звуками являются также и аффрикаты. Аффрикатами называются звуки, состоящіе изъ взрывнаго звука со слѣдующимъ однороднымъ съ нимъ спيرانтомъ. Такою аффрикатою является напр. нѣмецкое **pf** въ словахъ: Pfeil или Apfel; сюда же относятся русскіе звуки **ц** и **ч**: первый изъ нихъ можно назвать глухою зубною аффрикатою (состоитъ изъ **т** и **с**), а второй — палатализованною альвеолярною аффрикатою (состоитъ изъ **т'** + **ш'**). Русскій языкъ не знаетъ звонкихъ разновидностей этихъ аффрикатъ (объ одномъ случаѣ **д'ж'** см. выше стр. 76), но въ другихъ языкахъ онѣ извѣстны. Такъ англійск. **j** представляетъ изъ себя звонкую разновидность англійск. **ch**, совпадающаго съ русскимъ **ч**. Звонкою разновидностью русскаго **ц** является аффриката **дз**, которая встрѣчается въ бѣлорусскомъ нарѣчіи. Возникновеніе аффрикатъ легко объясняется тѣмъ, что переходъ отъ взрывнаго звука къ гласному всегда долженъ заключать въ себѣ моментъ, когда потокъ воздуха проходитъ черезъ суженіе, образованное органами, только что составлявшими затворъ. При замедленіи движенія этихъ органовъ спيرانтъ становится слышнѣе, и мы получаемъ аффрикату.

Разсмотрѣвши артикуляцію отдѣльныхъ звуковъ, выдѣленныхъ изъ связной рѣчи, мы теперь должны разсмотрѣть ихъ комбинаціи, изъ которыхъ собственно и состоитъ живая рѣчь. Многочисленныя и непрерывно слѣдующія одна за другой артикуляціи, конечно, не могутъ не вліять другъ на друга, и потому въ живой рѣчи мы встрѣчаемся съ многочисленными отклоненіями отъ установленныхъ выше типовъ такъ называемыхъ отдѣльныхъ звуковъ.

Одно изъ основныхъ положеній комбинаціи звуковъ можно формулировать такъ: если два сосѣднихъ звука имѣютъ какую-нибудь общую артикуляцію, то она выполняется однажды для обоихъ звуковъ. Такъ напр., если слово состоитъ изъ звонкихъ звуковъ и

изъ гласныхъ, то необходимая для всѣхъ этихъ звуковъ артикуляція гортани (дрожаніе голосовыхъ связокъ) продолжается непрерывно во время произнесенія всего слова, а не выполняется для каждаго звука отдѣльно; таковы напр. слова уже, она, заря, руби и т. п. Если соприкасаются между собою носовой звукъ и соотвѣтствующій звонкій взрывной, напр. въ сочетаніяхъ **мб**, **нд** и т. д., то не только голосовыя связки звучатъ непрерывно, но и затворъ, необходимый для образованія обоихъ звуковъ, остается во все время произнесенія этого сочетанія, а переходъ отъ носового къ взрывному выполняется движеніемъ небной занавѣски, которая подымается и закрываетъ полость носа; такую артикуляцію мы можемъ наблюдать въ словахъ: амбаръ, Андрей и т. п.

Этотъ принципъ экономіи движеній органовъ рѣчи иногда оказываетъ вліяніе на измѣненіе самой артикуляціи звуковъ. Такъ напр., если въ предшествующемъ сочетаніи носовой и звонкій взрывной помѣняются мѣстами (**бм**, **дн**), то общая для обоихъ звуковъ артикуляція затвора останется въ силѣ, при чемъ переходъ отъ одного звука къ другому будетъ выполняться обратнымъ движеніемъ небной занавѣски, которая должна опуститься и открыть полость носа для образованія носового звука. Такъ обыкновенно это сочетаніе и произносится; но, такъ какъ затворъ остается, то въ сущности въ этомъ сочетаніи мы не имѣемъ взрывнаго звука обычнаго типа, для образованія котораго необходимъ взрывъ затвора; акустическое впечатлѣніе взрывнаго звука получается въ моментъ отдѣленія небной занавѣски отъ задней стѣнки зѣва (fauces). Такой взрывъ носитъ названіе фаукальнаго. Мы находимъ его въ такихъ напр. словахъ, какъ обманъ, одна и т. п.

Подобныя условія наблюдаются и при артикуляціи сочетанія **дл**: оба эти звука образуются кончикомъ языка, который прикладывается къ альвеоламъ, но при звукѣ **л** остается свободнымъ отверстіе съ боку; поэтому и здѣсь не происходитъ альвеолярнаго взрыва, такъ какъ для слѣдующаго звука нуженъ тотъ же альвеолярный затворъ; а акустическое впечатлѣніе взрыва получается въ тотъ моментъ, когда языкъ, опускаясь своими боками внизъ, образуетъ отверстіе для прохода воздуха, необходимое для звука **л**. Такой

взрывъ носить названіе бокового, или латеральнаго; его мы наблюдаемъ въ такихъ, напр., словахъ, какъ тля, сѣдло, для и т. п.

Нерѣдко сосѣдніе звуки сближаются по своей артикуляціи, т. е. артикуляція необходимая для произнесенія одного звука, распространяется и на сосѣдній. Это явленіе называется уподобленіемъ, или ассимиляціею. Такъ напри- мѣръ, глухой звукъ уподобляется обыкновенно слѣдующему звонкому: слово сдѣлатъ произносится здѣлатъ; явленіе это нужно толковать такъ, что голосовыя связки, которыя должны зазвучать лишь при произнесеніи звука д, начинаютъ звучать уже при с, почему с и превращается въ з. Нерѣдко при большей близости артикуляціей результатомъ ассимиляціи является полное тождество двухъ сосѣднихъ звуковъ. Мы произносимъ, напри- мѣръ, слова ижжого, вижжать съ двумя ж, какъ ижжого, вижжать, при чемъ предшествующее з совершенно уподобилось слѣдующему ж.

Надо помнить однако, что по правилу экономіи движеній органовъ рѣчи два сосѣднихъ одинаковыхъ звука не могутъ производиться двукратнымъ повтореніемъ одной и той же артикуляціи; слѣдовательно, въ подобныхъ случаяхъ мы имѣемъ собственно дѣло не съ двумя отдѣльными звуками, а лишь съ однимъ, но длящимся вдвое дольше обычнаго, что и производитъ впечатлѣніе двойного звука. Даже взрывные звуки, которые по своему характеру, казалось бы, не могутъ быть удлинены, такъ какъ взрывъ всегда моменталенъ, и тѣ, сталкиваясь въ серединѣ слова, не артикулируются дважды, а только нѣсколько удлиняютъ артикуляцію паузы. Такъ въ словѣ оттого, впечатлѣніе двойного т получается вслѣдствіе отдѣленія паузой артикуляціи затвора отъ артикуляціи взрыва, такъ что образованіе затвора производитъ впечатлѣніе перваго т, а самый взрывъ образуетъ второе т.

Палатализация (см. выше стр. 74) согласныхъ звуковъ по большей части является результатомъ уподобленія: такъ напр., звукъ с въ сочетаніи си оказывается палатализованнымъ, такъ какъ языкъ уже при произнесеніи звука с принимаетъ то положеніе, которое необходимо для артикуляціи звука и.

Подобнымъ же образомъ объясняется и лабіализація веллярныхъ звуковъ передъ гласнымъ у: звуки к и г, въ

сочетаніяхъ **ку**, **гу** произносятся съ тѣмъ округленіемъ губъ, которое необходимо для произнесенія слѣдующаго **у**.

Нѣтъ возможности перечислить всѣ явленія, которыя могутъ быть объяснены приспособленіемъ другъ къ другу артикуляцій двухъ сосѣднихъ звуковъ. Но я укажу еще на одинъ примѣръ: русское слово **баня** въ нѣкоторыхъ мѣстахъ на сѣверѣ (въ Петербургской и Олонецкой губерніяхъ) произносится какъ **байня**. Появленіе **й** между звуками **а** и **н**, или превращеніе звука **а** въ двугласный **ай** объясняется вліяніемъ слѣдующихъ звуковъ: такъ какъ **н** передъ звукомъ **я** является сильно патализованнымъ, то при переходѣ отъ звука **а** къ звуку **н'** языкъ долженъ съ самаго низкаго своего положенія подняться до самаго высокаго, т. е. такого, которое наблюдается при образованіи звука **и**. Это положеніе языкъ доженъ принять лишь при началѣ артикуляціи звука **н'**, но, если координація движеній органовъ произношенія будетъ нѣсколько нарушена, и языкъ займетъ высокое положеніе нѣсколько раньше затвора звука **н'**, мы услышимъ короткій звукъ **й** и изъ сочетанія **бан'я** получимъ **байн'я**. Подобное же явленіе мы наблюдаемъ и въ русскомъ словѣ **мошенникъ**, которое часто произносится, какъ **мошейникъ**. Замѣчательно, что то-же явленіе мы наблюдаемъ и въ древне-греческомъ языкѣ, гдѣ напр. глаголь *βαίνω* „иду“ образовался, какъ извѣстно, изъ *\*βαίνω*; такъ же, повидимому, нужно объяснять и Zendскія *paigi* „вокругъ“ (ср. санскритское *pari*), *bara'ti* „несетъ“ (ср. санскритское *bha'ra'ti*).

Подобнымъ же образомъ объясняется и возникновеніе звука **b** въ группѣ **mr** и звука **d** въ группѣ **nr**, напримѣръ, въ греч. *ἀμβροτος* „безсмертный“ изъ *\*ἀμροτος* и въ греч. *ἀνδρός* изъ *\*ἀνρός* отъ *ἀνήρ* „мужчина“. Чтобы понять возникновеніе этихъ звуковъ нужно рассмотреть условія артикуляціи звуковъ **m** и **n** со слѣдующимъ **r**. Чтобы перейти отъ носовыхъ звуковъ **m** и **n** къ звуку **r** необходимо 1) поднятіе небной занавѣски, 2) нарушеніе губного (**m**) или зубного (**n**) затвора и 3) переходъ языка въ положеніе, необходимое для произнесенія звука **r**. Голосовыя связки звучатъ непрерывно, такъ какъ всѣ звуки здѣсь звонкіе. Изъ этого мы видимъ, что въ самыхъ условіяхъ артикуляціи этихъ звуковъ заключается возможность возникновенія звонкаго

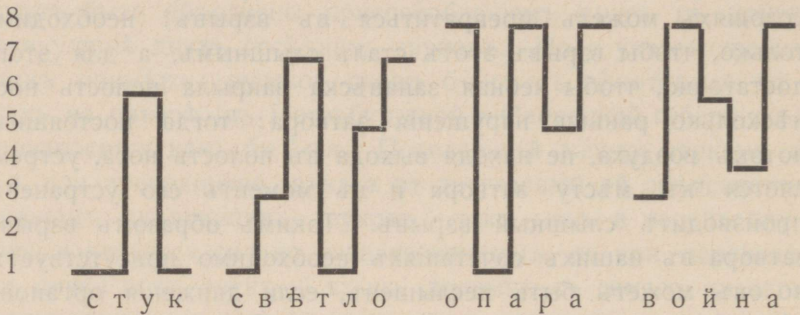
взрывного звука — губного или зубного —, такъ какъ затворъ, необходимый для образованія носового звука, долженъ быть нарушенъ, а это нарушеніе затвора при извѣстныхъ условіяхъ можетъ превратиться въ взрывъ: необходимо только, чтобы взрывъ этотъ сталъ слышнымъ, а для этого достаточно, чтобы небная занавѣска закрыла полость носа нѣсколько раньше нарушенія затвора: тогда постоянный потокъ воздуха, не находя выхода въ полость носа, устремляется къ мѣсту затвора и въ моментъ его устраненія производитъ слышный взрывъ. Такимъ образомъ взрывъ затвора въ нашихъ сочетаніяхъ необходимо присутствуетъ, но онъ можетъ быть неслышенъ, если движенія органовъ рѣчи будутъ строго координированы. Такого произношенія требуетъ, напр., русскій литературный языкъ для словъ нравъ, нравиться; но въ народномъ произношеніи мы постоянно слышимъ: ндравъ, ндравиться, и обыкновенно чувствуется нѣкоторое усиліе, которое употребляешь для того, чтобы не произнести здѣсь звука д.

Наша рѣчь обыкновенно распадается на слоги, и это распаденіе основывается на различіи въ степени звучности отдѣльныхъ элементовъ нашей рѣчи. Дѣйствительно, глухіе оказываются менѣе звучными, нежели звонкіе; спиранты болѣе звучны, нежели взрывные звуки; носовые и плавные менѣе звучны, нежели гласные; наконецъ между гласными мы наблюдаемъ различныя степени звучности въ зависимости отъ степени открытости звука: чѣмъ открытѣе гласный звукъ, тѣмъ онъ звучнѣе. Такимъ образомъ всѣ звуки по степени звучности можно расположить въ слѣдующемъ порядкѣ<sup>1)</sup>:

1. Глухіе звуки: а) взрывные (п, т, к),  
б) спиранты (ф, с, ш).
2. Звонкіе взрывные (б, д, г).
3. „ спиранты (в, з, ж).
4. „ носовые (м, н).
5. „ плавные (л, р).
6. Гласные высокіе (у, и, ы).
7. „ средніе (о, е).
8. „ низкіе (а).

1) Я въ данномъ случаѣ придерживаюсь въ общемъ классификаціи Есперсена (Jespersen, Lehrbuch der Phonetik, S. 186) съ небольшими отступленіями, примѣнительно къ русскому языку.

Попробуемъ теперь графически изобразить сравнительную степень звучности отдѣльныхъ звуковъ, составляющихъ слова: стукъ, свѣтло, опара, война:



Эти фигуры имѣютъ столько же вершинъ, сколько мы насчитываемъ слоговъ въ приведенныхъ словахъ: эти вершины имѣютъ различную высоту; слѣдовательно, каждый слогъ создается наивысшей относительной звучностью въ рядѣ звуковъ; каждая вершина звучности является носительницею отдѣльнаго слога. Относительностью звучности объясняется то явленіе, что носителями слога могутъ являться носовые и плавные звуки, если они окружены звуками меньшей звучности. Такіе носовые и плавные называются слогаобразующими, а иногда носовыми и плавными сонантами. Въ сравнительной грамматикѣ для обозначенія ихъ употребляются особые знаки: *m*, *n*, *g*, *l*. Такъ, напр., слогаобразующее *p* встрѣчается въ сербскомъ языкѣ: за-т<sub>р</sub>па „завалилъ“, ц<sub>р</sub>н „черный“, ц<sub>р</sub>в „червь“.

Такъ какъ гласные звуки обладаютъ также различною степенью звучности, то возможны такія сочетанія двухъ гласныхъ звуковъ, въ которыхъ носителемъ слога является лишь одинъ изъ нихъ: такія сочетанія гласныхъ носятъ названіе двугласныхъ, или дифтонговъ. Слѣдовательно, дифтонгомъ мы называемъ такое сочетаніе двухъ гласныхъ, которое составляетъ одинъ слогъ. Если слогаобразующій гласный занимаетъ первое мѣсто, то дифтонгъ называется нисходящимъ, если же — второе, то восходящимъ. Наболѣе обычны нисходящіе дифтонги: русскіе ай, ой, эй, ей, ій, уй. Примѣровъ восходящаго дифтонга можетъ служить французское *oi*, которое произносится какъ *yà*: *моi* (читай: муà), *лоi* (чит. л'уà), *гоi* (чит. руà).

Однако гласные звуки могутъ имѣть различную звучность вслѣдствіе усиленія или ослабленія силы выдыха. Можно произносить одинъ и тотъ же звукъ, напр. а, и при этомъ то усиливать, то ослаблять его такъ, что получится впечатлѣніе нѣсколькихъ слоговъ. Такъ произносятся звукъ а няньки, укачивая ребенка: á - а - á - а - á - а - á; при этомъ на ударяемыхъ звукахъ слышится и нѣкоторое повышеніе тона. Вслѣдствіе этого одинъ и тотъ же дифтонгъ можетъ быть произнесенъ и какъ восходящій и какъ нисходящій: такъ напр. то же сочетаніе уа, которое мы встрѣчаемъ во французскомъ языкѣ въ качествѣ восходящаго дифтонга въ литовскомъ языкѣ является, какъ нисходящій дифтонгъ ū (чит.: уа).

Мы только что указали на то, какое значеніе имѣетъ усиленіе выдыха въ образованіи слога; съ этимъ вмѣстѣ мы переходимъ уже въ область т. наз. ударенія. Подъ именемъ ударенія разумѣются два совершенно различныхъ явленія, которыя слѣдовало бы и называть различными именами. Въ нашей рѣчи, почти въ каждомъ словѣ, мы произносимъ нѣкоторые слоги съ особенной силой. Такъ какъ усиленіе звука вызывается обыкновенно усиленіемъ выдыха, то такое удареніе носитъ названіе экспираторнаго (expiratio „выдыхъ“). Но удареніемъ мы называемъ также и измѣненіе тона голоса, придающее нашей рѣчи различные оттѣнки смысла. Мы можемъ, напримѣръ, различными способами произнести слово „да“, выражая въ одномъ случаѣ утвердительный отвѣтъ, въ другомъ — сомнѣніе, въ третьемъ — вопросъ и т. п. Такое удареніе носитъ названіе музыкальнаго, или тоническаго. Въ сущности и то и другое удареніе всегда идутъ рука объ руку: нѣтъ такого монотоннаго языка, который бы вовсе не отличалъ тоновъ; и не можетъ быть, съ другой стороны, такихъ тоновъ, которые бы вовсе не отличали и извѣстныхъ различій въ силѣ звука. Тѣмъ не менѣе одни языки и нарѣчія выказываютъ несомнѣнную склонность къ экспираторному ударенію, а другіе — къ музыкальному. Такъ напр. петербуржцы упрекаютъ москвичей въ томъ, что они не говорятъ, а „поютъ“, на что москвичи возражаютъ, что петербуржцы не говорятъ, а „лаютъ“. Эти слова отмѣчаютъ совершенно правильно нѣсколько большую долю музыкальнаго ударенія въ московскомъ говорѣ, и сравнительно большую экспираторность говора петербуржцевъ.

Что касается экспираторнаго ударенія, то мы употребляемъ его обыкновенно по традиціи, подчеркивая въ каждомъ словѣ ударяемый слогъ. Иногда въ болѣе длинныхъ словахъ кромѣ главнаго ударенія имѣется еще и другое, болѣе слабое. Это особенно замѣтно въ стихахъ, гдѣ при отчетливой скандовкѣ одно слово нерѣдко имѣетъ два ударенія.

Иногда психологическія или логическія причины вызываютъ особое удареніе на необычномъ мѣстѣ; напр. фраза „недостаточно по́казать, необходимо до́казать“ часто произносится съ удареніемъ на противуполагаемыхъ приставкахъ по- и до- съ цѣлью подчеркнуть это противуположеніе.

Такъ какъ сильно экспираторное удареніе требуетъ усиленія выдыха на ударяемомъ слогѣ, то на слѣдующіе слоги остается незначительный запасъ воздуха, и они обыкновенно произносятся гораздо слабѣе, а иногда и вовсе исчезаютъ. Такъ создалось, напр. французское удареніе послѣдняго слога въ словѣ: въ латинскомъ языкѣ послѣ ударяемаго слога еще былъ одинъ или два слога безъ ударенія; во французскомъ они перестали произноситься: латинское *amorem* дало французское *amour* „любовь“, лат. *factum* — фр. *fait* „сдѣланный“, лат. *arborum* — фр. *arbre* „дерево“ и т. д.

Что касается музыкальнаго ударенія, то оно, какъ уже было указано, играетъ важную роль въ выраженіи различныхъ оттѣнковъ смысла фразы. Одна и та-же фраза можетъ быть произнесена, какъ сообщеніе факта или какъ вопросъ: въ первомъ случаѣ тонъ падаетъ къ концу фразы, во второмъ — подымается; ср. напр. „вчера былъ пожаръ“ и „вчера былъ пожаръ?“ Если вопросъ выраженъ какимъ-либо вопросительнымъ словомъ, то оно обыкновенно стоитъ въ началѣ фразы и произносится съ повышеніемъ тона, который понижается къ концу предложенія; напр. „что было вчера?“ Наблюденія надъ такими измѣненіями тона до сихъ поръ еще не достаточны для того, чтобы установить сколько-нибудь исчерпывающую классификацію относящихся сюда явленій.

Въ нѣкоторыхъ языкахъ музыкальное удареніе является необходимою принадлежностью каждаго слова, такъ что неправильная интонація слова производитъ впечатлѣніе ошибки, а иногда даже мѣняетъ значеніе слова. Такое значеніе му-

зыкальное удареніе имѣть въ настоящее время въ литовскомъ и сербскомъ языкахъ, а изъ древнихъ, насколько мы можемъ судить, имѣло въ санскритскомъ и греческомъ языкахъ.

## § 14. Психологическій факторъ въ языкѣ.

Мы видѣли, что въ словѣ нѣтъ постоянной связи между звукомъ и значеніемъ. Это значитъ, что связь эта устанавливается путемъ привычки, благодаря постоянной ассоціаціи извѣстнаго сочетанія звуковъ съ опредѣленной группой представленій.

Когда мы слышимъ какое-либо слово, слуховое впечатлѣніе его вызываетъ въ насъ извѣстную группу представленій, и эти представленія въ свою очередь могутъ заставить насъ произнести тѣ слова, которыя связаны съ ними постоянной ассоціаціей. Но представленіе не непосредственно связано съ произносимыми нами звуками: для произнесенія словъ необходимо привести въ движеніе нашъ аппаратъ рѣчи, а для этого нужно, чтобы органы рѣчи получили соотвѣтствующіе импульсы отъ нервовъ, завѣдующихъ ихъ движеніями. Съ появленіемъ письменности, а въ жизни отдѣльнаго человѣка съ усвоенія грамотности, устанавливаются новыя ассоціаціонныя связи. Звуковое представленіе слова связывается съ зрительнымъ представленіемъ его начертанія, при чемъ устанавливается еще и ассоціація представленія звуковъ съ тѣми движеніями руки, которыя необходимы для написанія слова. Такимъ образомъ въ основѣ языковой дѣятельности лежитъ очень сложная сѣть представленій: слуховыя представленія слова, представленія движеній органовъ рѣчи, зрительныя представленія написаннаго слова и, наконецъ, представленія движенія руки при письмѣ.

Физическою основою всей этой сѣти ассоціацій является часть нервной системы человѣка съ соотвѣтствующими центрами, залегающими въ головномъ мозгу. Мы знаемъ, что между этими центрами существуетъ общая связь, при чемъ однако каждый изъ нихъ обладаетъ извѣстной долей самостоятельности. Это подтверждается такими патологическими явленіями, когда у человѣка бываетъ пораженъ одинъ изъ этихъ центровъ. Больной, напр., можетъ утратить способ-

ность понимать сказанныя слова, не утрачивая способности понимать написанныя слова и т. под.

Уже этотъ общій обзоръ показываетъ, насколько сложенъ механизмъ нашей рѣчи и какую важную роль играетъ въ немъ психическій факторъ. Даже самыя движенія органовъ рѣчи въ конечномъ счетѣ опредѣляются психологическими причинами. Понятно поэтому, какую трудность представляетъ изученіе психологической стороны языка. Главное затрудненіе заключается въ томъ, что при обычныхъ условіяхъ мы не замѣчаемъ дѣйствія психическихъ силъ въ нашей рѣчи, такъ какъ онѣ представляютъ привычную атмосферу, въ которой протекаютъ всѣ явленія языка. Мы обращаемъ вниманіе на эти явленія только тогда, когда какія-либо причины нарушаютъ привычное дѣйствіе психическихъ силъ.

Такъ какъ слова въ нашей рѣчи могутъ являться въ весьма разнообразнымъ сочетаніяхъ, то такимъ же разнообразіемъ отличаются и ассоціаціи словъ между собою и съ различными значеніями.

Прежде всего мы встрѣчаемся съ ассоціаціей слова и значенія, при чемъ значеніе привлекаетъ обыкновенно къ себѣ цѣлую группу словъ, приблизительно однозначущихъ, такъ называемыхъ синонимовъ. Обыкновенно мы выбираемъ при этомъ одно изъ напрашивающихся словъ, и тогда всѣ остальные въ нашемъ сознаніи исчезаютъ, такъ что мы и не сознаемъ того выбора, который только что произвели. Но, нерѣдко случается, что отвергнутыя нами слова оставляютъ свой слѣдъ въ произнесенномъ словѣ, тогда происходитъ нарушеніе общаго хода нашей рѣчи, и мы оговариваемся. Эти оговорки, хотя и представляютъ ошибки нашей рѣчи, но тѣмъ не менѣе очень важны для насъ, такъ какъ являются показателями тѣхъ психическихъ процессовъ, которыхъ мы обыкновенно не замѣчаемъ. Такъ напр. въ русскомъ языкѣ существуетъ два синонима: надо и нужно; нерѣдко встрѣчаются оговорки, гдѣ первая часть одного слова соединяется со второю частью другого: на-жно, ну-до. Эти оговорки, называемыя контаминаціями, показываютъ, что оба слова въ сознаніи нашемъ соединены очень тѣсной ассоціаціей, такъ какъ имѣютъ одинаковое значеніе. Мнѣ случилось, оговариваясь, произносить: „запройте дверь“, очевидно изъ „заприте“ и „закройте“. Подобныя оговорки очень

часто можно слышать въ живой рѣчи. Такъ одна дама разсказывала, что послѣ сдѣланной ей операці прижиганія гланды „запахло гарѣнымъ мясомъ“; очевидно, слова „горѣлый“ и „варѣный“ были ассоцірованы въ ея сознаніи. Въ одномъ ученомъ трактатѣ мы находимъ выраженіе „всемогущественное правительство“, очевидно изъ „всемогущее“ и „могущественное“. Такія оговорки иногда приобрѣтаютъ права гражданства, проникаютъ въ литературу и становятся въ ряды нормальныхъ словъ. Такъ слова „огромадный“ (изъ „огромный“ и „громадный“), „сродственникъ“ (изъ „сродникъ“ и „родственникъ“), очень часто встрѣчаются въ просторѣчи. Въ печати я встрѣчалъ, напр. слѣдующія слова: „толковитость“ (изъ „толковость“ и „дѣловитость“), „междоусобица“ (изъ „междоусобіе“ и „усобица“), „вѣроподобный“ (изъ „вѣроятный“ и „правоподобный“). Съ увѣренностью можно сказать, что многія слова въ языкѣ такимъ образомъ создались: привычная оговорка перестала обращать на себя вниманіе, и слово получило полныя права гражданства въ языкѣ. Такъ напр. слово „разъединять“, которое употребляется въ настоящее время, не возбуждая ни въ комъ недоумѣнія, по видимому возникло изъ ассоціаціи противоположныхъ по значенію словъ „раздѣлять“ и „соединять“, при чемъ поддержку ему оказало близкое къ нему по значенію слово „удинять“.

Ассоціруются между собою также и слова, стоящія въ предложеніи рядомъ или недалеко другъ отъ друга. Вообще можно сказать, что предложеніе представляетъ изъ себя психологическое цѣлое, всѣ части котораго связаны между собою ассоціаціями. Здѣсь мы встрѣчаемся также съ оговорками, которыя свидѣтельствуютъ о существованіи такихъ ассоціаціонныхъ связей. Въ одномъ научномъ засѣданіи, докладчикъ говоритъ о найденныхъ при раскопкахъ золотыхъ маскахъ, что онѣ представляютъ „человѣка съ бородами и съ усой“, и почти никто изъ присутствовавшихъ не замѣтилъ этой оговорки. Ясно, что въ данномъ случаѣ тѣсно связанная между собою слова „борода“ и „усы“ перемѣнили свои мѣста, сохранивши грамматическія формы, соотвѣтствующихъ мѣстъ въ первоначальномъ намѣреніи говорящаго: вмѣсто „съ усáми и съ бородóй“ докладчикъ сказалъ „съ борода́ми и съ усóй“. Однажды, ложась спать, мой сынъ со-

общилъ мнѣ, что ему „блотать гольно“. Другой разъ мнѣ сообщили, что „съ крашъ кыпаетъ, а дождь не идетъ“. Въ одномъ засѣданіи, гдѣ обсуждался вопросъ о посылкѣ делегата, было предложено „полосовать делегата“, очевидно, слова „послать“ и „голосовать“ привели говорившаго къ такому жестокому предложенію. Замѣчательно, что и эта оговорка почти никѣмъ не была замѣчена. На одной публичной лекціи было сказано „лодка съ рулѣй“, при чемъ поправка указала на то, что нужно было сказать „съ рулемъ и мачтой“.

Ассоціируются между собою и слова сходнаго строенія, созвучныя и вообще чѣмъ нибудь сходныя. Такъ напр. однажды докладчикъ вм. „надбровныя дуги“ сказалъ „надгробныя дуги“, при чемъ въ темѣ его доклада не было ничего, что бы могло наводить на такія печальныя мысли, кромѣ того, что рѣчь шла о доисторическихъ черепахахъ. Любопытный случай такой ассоціаціи словъ по созвучію представляетъ такъ называемая народная этимологія: иностранное непонятное по звукамъ слово осмысливается роднымъ созвучнымъ словомъ. Такъ въ „Войнѣ и мирѣ“ Толстой рассказываетъ, что народъ называлъ „мародёровъ“ — „міродёрами“. Однажды станція Николаевской желѣзной дороги „Померанье“ была перекрещена въ „Помиранье“, когда поѣзду пришлось простоять на ней слишкомъ долго изъ-за порчи паровоза.

Одинаковые типы склоненій и спряженій точно также составляютъ группы ассоціацій, при чемъ ассоціаціями оказываются связанными и одинаковыя грамматическія категоріи даже различнаго образованія. Такъ связаны между собою, напр., всѣ формы склоненія женскаго рода на ударяемомъ -а: ногá — ногѣ — нóги; всѣ слова этого типа имѣютъ одинаковыя формы по всѣмъ падежамъ, и при образованіи новыхъ формъ, когда этого требуютъ обстоятельства, мы руководимся — сознательно или безсознательно — этими типами: рукá — рукѣ — рѣки, сторонá — сторонѣ — стóроны, судьбá — судьбѣ — сѣдѣбы (?). Послѣдняя форма рѣдко употребляется, и потому существуетъ сомнѣніе, гдѣ должно стоять удареніе, на первомъ или на послѣднемъ слогѣ; это сомнѣніе и указываетъ намъ на то, что мы руководимся при образованіи новыхъ формъ уже существующими

образцами, или какъ обыкновенно выражаются, образуемъ ихъ по аналогіи съ другими формами. То же самое и въ области спряженія :

глядѣть — глядишь — гляжѹ  
 сидѣть — сидишь — сижѹ  
 побѣдѣть — побѣдишь — побѣжѹ (?)

Послѣдняя форма, которую мы склонны образовать по аналогіи этого типа, едва-ли однако можетъ считаться существующею на практикѣ: слишкомъ большое созвучіе съ формою „побѣгу“ мѣшаетъ ея употребленію, и языкъ старается устранить это неудобство, всячески обходя эту двусмысленную форму. Другой примѣръ: временá — времѣнь, племена — племѣнь, имена — имѣнь, сѣмена — ?, „сѣмѣнь“ было бы неудобно въ виду звукового совпаденія съ именемъ „Семѣнь“, и мы образуемъ искусственную форму „сѣмянь“. Эти примѣры показываютъ насколько живо чувствуется связь словъ между собою въ самыхъ разнообразныхъ направленіяхъ.

Типы склоненія примѣняются свободно и къ иностраннымъ словамъ, если только они подходятъ по формѣ къ какому-нибудь типу. Только литературный языкъ образованнаго класса людей, которые еще живо чувствуютъ иностранное происхожденіе слова, не допускаетъ склоненія такихъ словъ, какъ „пальто“, „депо“, „кофе“ и т. п. Но простонародіе свободно говорить „безъ пальтá“, „въ депѣ“ и приспособляетъ слово „кофе“ для склоненія, превращая его въ „кофей“ — „кофею“ — „за кофеемъ“ и т. д. Французское слово „брелокъ“ (brelouque) стало у насъ теперь склоняться, какъ „платокъ, кусокъ“, и образуетъ множественное число „брелкі“ какъ „платкі, кускі“, выбрасывая **о** передъ **к** въ косвенныхъ падежахъ, какъ будто это исконное славянское слово. Однажды, провожая меня въ театръ, прислуга спросила меня, возьму ли я съ собою „бенкї“, при чемъ указала на бинокль, который я дѣйствительно чуть не забылъ взять: очевидно, она склоняла бенокъ также по образцу слова „платокъ“; интересно, что употребленное ею множественное число, котораго она, конечно, не могла слышать, указываетъ на сложность бинокля, состоящаго изъ двухъ одинаковыхъ частей, слѣдовательно, оно употреблено здѣсь въ томъ же смыслѣ, какъ въ словахъ щипцы, ножницы, клещи и т. д.

По аналогіи создаются въ языкѣ многочисленныя новыя формы, при чемъ аналогія, разрушая старыя типы склоненій и спряженій, создаетъ новыя. Такъ наприм., въ старинномъ русскомъ языкѣ дательный падежъ множественнаго числа отличался по формѣ въ различныхъ основахъ: вълкомъ, конемъ, путемъ, женамъ, душамъ, костымъ, матерымъ, именымъ; теперь во всѣхъ этихъ случаяхъ мы имѣемъ лишь одно окончаніе -амъ которое въ мягкихъ основахъ измѣняется въ -ямъ: волкамъ, конямъ, путемъ, женамъ, душамъ, костямъ, матерямъ, именамъ. Мы видимъ, слѣдовательно, что всѣ дательные падежи мн. числа образуются теперь по аналогіи именъ женскаго рода на -а, какъ жена. Подобную же тенденцію мы наблюдаемъ и въ родит. пад. мн. числа, гдѣ распространяется окончаніе -овъ: рабовъ вм. стараго рабъ, народное мѣстовъ вм. литературнаго мѣстъ и т. под. Старыя формы сохраняются только въ особыхъ сочетаніяхъ: рота солдатъ, пара сапогъ или старинный дат. мн. ч. въ выраженіи „по дѣломъ“.

Подобныя же ассоціаціонныя связи существуютъ также между цѣлыми группами словъ и цѣлыми предложе-ніями. Объ этомъ свидѣлствуютъ подобныя же оговорки въ сферѣ болѣе обширныхъ сочетаній словъ. Конструкціи, имѣющія приблизительно одинаковое значеніе, ассоціируются между собою и могутъ давать такія же контаминаціи, какія мы встрѣчали въ отдѣльныхъ словахъ. Я отмѣтилъ изъ разговорнаго языка и изъ печатныхъ сочиненій такія напр. оговорки этого рода: „мы сейчасъ увидимъ ниже“, „... случай, имѣвшій мѣсто не такъ давно тому назадъ...“ (очевидно изъ „не такъ давно“ и „нѣсколько времени тому назадъ“), „четверть минутъ одиннадцатаго“ (контаминація изъ „четверть“ и „пятнадцать минутъ“), „я забылъ упомянуть на то, что...“ (изъ „умянуть о томъ“ и „указать на то“), „... два... рассказа (Сологуба)... ярче всего выражаютъ томленіе его къ иному бытію“ (подъ вліяніемъ выраженія „стремленіе къ чему“). Или:

„Ужась сталъ шептать душѣ упреки,  
Говорить, что къ небу мы далеки“.

(Фофановъ).

(подъ вліяніемъ сочетанія „близки къ чему“). Въ одномъ официальномъ бюллетенѣ сообщалось, что „въ состояніи здоровья“ больной „никакихъ осложненій отъ нормы не произошло“ (подъ вліяніемъ выраженія „уклоненій отъ нормы“). Или: „... общее вниманіе приковываетъ на себя...“ (подъ вліяніемъ выраженія „привлекаетъ на себя“).

Ассоціаціей объясняется также и аттракція. Такъ называется уподобленіе падежа относительнаго мѣстоимѣнія падежу указательнаго: въ результатѣ получается то, что падежъ относительнаго мѣстоименія опредѣляется не грамматическою связью придаточнаго предложенія, въ которомъ находится относительное мѣстоименіе, а строемъ главнаго предложенія. Здѣсь мы имѣемъ слѣдовательно случай ассоціаціи двухъ предложеній, тѣсно связанныхъ между собою. Въ русскомъ языкѣ аттракція, встрѣчается, какъ нормальное явленіе, очень рѣдко. Можно указать, напр., на выраженіе „пообѣдать, чѣмъ Богъ послалъ“, гдѣ творительный падежъ „чѣмъ“ вызванъ сочетаніемъ со словомъ „пообѣдать“, между тѣмъ какъ по строю придаточнаго предложенія мы ожидали бы „что Богъ послалъ“. Другой такой примѣръ мы находимъ въ такихъ выраженіяхъ, какъ „скажи, кому знаешь“ вмѣсто „скажи тому, кого знаешь“. Въ греческомъ языкѣ такая аттракція является правиломъ при слѣдующихъ условіяхъ: если относительное мѣстоименіе должно было бы стоять въ винительномъ падежѣ, а указательное главнаго предложенія въ родительномъ или дательномъ. Напр. *ὃν ἔλαβεν ἄπιστι μετέδωκε* „онъ подѣлился со всѣми тѣмъ, что взялъ“ (*ὃν ἔλαβεν* вм. *τούτων*, *ἃ ἔλαβεν*).

И въ области предложеній и конструкцій ассоціація является творческой силой, создающей новыя формы выраженія мысли и новыя обороты. Въ настоящее время, напримѣръ, въ русскомъ языкѣ, повидимому, создается категорія причастія будущаго времени (совершеннаго вида); такого причастія современная грамматика еще не признаетъ, но въ языкѣ оно уже нерѣдко встрѣчается. Напр. академикъ Заленскій пишетъ о лошади Пржевальскаго: „это — видъ, не сомнѣнно вымирающій и, вѣроятно, вскорѣ вымрущій совершенно“. Причастіе будущаго времени „вымрущій“ построено очевидно по слѣдующей аналогіи: „который мретъ“ = „мрущій“, „который вымретъ“ = „вымрущій“. Или другой

примѣръ: „глядя на эти бѣлыя страницы (книги), ничего не говорящя ей, но принесущя въ будущемъ счастье ея сыну...“ (Ив. Наживинъ, Убогая Русь, М. 1901, стр. 269, „Солнечный лучъ“ — сообщено Д. К. Зеленинымъ). „... Контора просить передать его (переводный бланкъ) лицу, пожелающему подписаться на журналъ“.

„Еще сегодня съ вами тишина,  
Но вотъ, клянусь рукой желѣзной,  
Неумолима глубина  
Подъ вами вскроеющейся бездны“.

(„Наша Жизнь“, Лит.-научн. прилож. № 3—4, 8 февр. 1906 года). Слово „послѣдующій“, превратившееся уже въ прилагательное, завоевало себѣ право гражданства и ни въ комъ не вызываетъ недоумѣнія. На основаніи этихъ явленій мы можемъ предположить, что вскорѣ создается въ русскомъ языкѣ причастіе будущаго времени.

Повидимому, съ еще большею силой ощущается въ русскомъ языкѣ потребность въ причастіи прошедшаго времени съ частицею бы. По крайней мѣрѣ такіе обороты встрѣчаются едва-ли не чаще даже, чѣмъ причастіе будущаго времени. Вотъ примѣры этого явленія, случайно подобранные мною изъ современной печати:

„... найдутся... новые Бобчинскіе и Добчинскіе, которые пѣтушкою побѣгутъ за триумфальной колесницей каждаго выдающагося бюрократа, пожелавшаго бы овладѣть моментомъ“ („Русь“, 9. X. 1905).

Слѣдующіе примѣры всѣ взяты изъ перевода романа П. Бурже „Ученикъ“ (Универс. Библиот. № 221 — 223); авторъ перевода — А. Мирэ:

„Такимъ образомъ философъ, не причинившій бы зла даже мухѣ, шель бодрыми шагами...“ (стр. 60).

„Этому воспитанію я приписываю преждевременное развитіе у меня способности къ анализу, привлекающей бы меня... къ позитивнымъ наукамъ, если бы мой отецъ не умеръ“ (стр. 83).

„Я не могу найти точныхъ выраженій, опредѣлившихъ бы смутныя и странныя ощущенія тоски...“ (стр. 92).

„Это могло случиться только при наличности старанья съ моей стороны не вспугнуть эту душу... какимъ-либо не-

осторожнымъ словомъ, указавшимъ бы ей на опасность“ (стр. 166).

„Это бѣшенство было подобно отчаянію игрока... (который) узналъ, что вышелъ номеръ, на который онъ хотѣлъ ставить, номеръ, принесшій бы ему въ тридцать шесть разъ больше его ставки“ (стр. 194).

Всѣ эти случаи указываютъ на образованія по аналогіи: если выраженіе „который принесъ“ можно замѣнить причастіемъ „принесшій“, то естественно слова „который принесъ бы“ замѣняются словами „принесшій бы“. У насъ такіе обороты пока не могутъ еще считаться общепризнанными: они еще рѣжутъ ухо; но въ послѣдствіи они, вѣроятно, также приобретутъ право гражданства.

Замѣчательно, что въ греческомъ языкѣ мы знаемъ совершенно такой же оборотъ причастія съ частицею *ἄν*, которая обыкновенно является при личныхъ формахъ глагола. Въ греческомъ, очевидно, тотъ же процессъ привелъ къ полной побѣдѣ новой конструкціи.

Мнѣ удалось отмѣтить также одинъ случай употребленія частицы бы при дѣепричастіи: „... слѣдовало бы расширить, введя бы нѣкоторыя подробности...“ (въ отзывѣ о сочиненіи.) Но въ данномъ случаѣ мы, вѣроятно, имѣемъ дѣло съ простымъ повтореніемъ частицы бы, стоящей въ предшествующей части фразы.

Указанныя выше явленія не исчерпываютъ, конечно, всѣхъ сторонъ вліянія психологическаго фактора въ языкѣ, но все же достаточно отмѣняютъ его универсальное значеніе. Языкознаніе въ настоящее время работаетъ съ полнымъ сознаніемъ важности психологической стороны въ явленіяхъ языка и постоянно стремится къ выясненію размѣровъ значенія психологическаго фактора. Можно сказать, что современное языкознаніе характеризуется именно тѣмъ, что оно ищетъ опоры въ физиологіи звука съ одной стороны и въ психологіи съ другой.

## § 15. Грамматическій строй индоевропейскихъ языковъ.

Постараемся теперь примѣнить общіе принципы языкознанія къ разсмотрѣнію грамматическаго строя индо-евро-

пейскихъ языковъ. Само собою разумѣется, что при этомъ я долженъ буду опираться на факты, добытые историко-сравнительнымъ изученіемъ индо-европейскихъ языковъ.

Мы видѣли, что всякій языкъ характеризуется не отдѣльнымъ словомъ, а сочетаніемъ словъ, которое носить названіе предложенія. Поэтому необходимо остановиться на выясненіи этого термина, который, какъ это ни странно, не можетъ читаться установленнымъ. Разборъ значенія этого термина убѣдитъ насъ въ томъ, что слово „предложеніе“, подобно слову „языкъ“, употребляется въ различныхъ значеніяхъ, которыя строго не различаются и ведутъ къ недоразумѣніямъ.

Прежде всего мы встрѣчаемся съ обычнымъ, школьнымъ опредѣленіемъ предложенія, носящимъ на себѣ ясныя слѣды старой логической школы. „Предложеніе есть мысль, выраженная словами“ (Пуцыковичъ), — „высказанная мысль“ (Поливановъ), — „сужденіе, выраженное словами“ (Буслаевъ). Останавливаться на разборѣ этихъ логическихъ опредѣленій предложенія нѣтъ надобности, такъ какъ о недостаткахъ логической точки зрѣнія на явленія языка было уже достаточно сказано выше.

Психологическое направленіе языкознанія, конечно, вызвало протестъ противъ логическихъ опредѣленій предложенія, и они были замѣнены психологическими. Изъ этихъ опредѣленій я приведу два. Первое изъ нихъ принадлежитъ Герману Паулю<sup>1)</sup>: „Предложеніе есть языковое выраженіе, символъ того, что въ душѣ говорящаго произошло соединеніе нѣсколькихъ представленій или группъ представленій, и средство вызвать въ душѣ слушателя то же соединеніе тѣхъ же представленій“. Второе принадлежитъ Вундту: „Предложеніе есть языковое выраженіе произвольнаго расчлененія цѣлаго сложнаго представленія на составныя части, поставленныя въ логическія отношенія другъ къ другу“<sup>2)</sup>. Опредѣленіе Пауля выгодно выдѣляется своею послѣдовательностью: оно старается какъ можно точнѣе отмѣтить психическіе процессы, совершающіеся какъ въ человѣкѣ, произносящемъ данное предложеніе, такъ и въ слушателѣ. Съ этой точки зрѣ-

1) Hermann Paul, Prinzipien der Sprachgeschichte 4, 121.

2) Wundt, Völkerpsychologie, Die Sprache II 1, 240.

нія опредѣленіе Вундта отличается непослѣдовательностью и двойственностью; исходя въ первой части своего опредѣленія изъ психологической точки зрѣнія, Вундтъ во второй части вводитъ въ предложеніе снова „логическія отношенія“ и тѣмъ возвращается опять къ старому логическому опредѣленію, хотя и въ новой формѣ, прикрашенной современной психологіей.

Если мы присмотримся къ этимъ психологическимъ опредѣленіямъ, то увидимъ, что въ сравненіи со старыми логическими опредѣленіями они выгодно отличаются только болѣе точнымъ указаніемъ на психологическую основу предложенія. Въ этомъ отношеніи они вѣрно отражаютъ современное состояніе науки о языкѣ. Но о предложеніи они даютъ столь же неопредѣленное понятіе, такъ и старыя логическія опредѣленія. Это видно уже изъ того, что самый, казалось-бы, простой вопросъ, возможны ли одночленные предложенія въ языкѣ, оказывается уже спорнымъ. Неудивительно поэтому, что такой трезвый языковѣдъ, какъ Бертольдъ Дельбрюкъ довольствуется слѣдующимъ опредѣленіемъ предложенія: „Предложеніе есть выраженное членораздѣльною рѣчью изъ-явленіе мысли (Äusserung), которое представляется говорящему и слушающему, какъ связное законченное цѣлое“<sup>1)</sup>. Для Дельбрюка главное значеніе этихъ опредѣленій сводится къ указанію на „связное законченное цѣлое“. Но и это даетъ намъ очень немного, и мы едва ли смогли бы на основаніи этихъ опредѣленій раздѣлять нашу рѣчь на предложенія, если бы при этомъ намъ не помогали другіе признаки, дающіе возможность почти безошибочно отдѣлять одно предложеніе отъ другого.

Мы стоимъ такимъ образомъ передъ странною загадкою: практически мы прекрасно знаемъ, что такое предложеніе, а теоретически оно оказывается неуловимо ни въ одно изъ нашихъ опредѣленій. Дѣло объясняется довольно просто: всѣ приведенныя опредѣленія почти совершенно забываютъ о томъ, что предложеніе есть форма выраженія нашей мысли. Ясно, что и опредѣленіе предложенія должно быть формальнымъ. Въ данномъ случаѣ и психологическое направленіе впало въ такую же ошибку, какъ и старое логи-

1) В. Delbrück, Vergleichende Syntax d. idg. Sprachen I, 75.

ческое. Будемъ ли мы видѣть въ предложеніи логическое или психологическое содержаніе, все равно намъ не удастся опредѣлить форму, характеризуя содержаніе. Ошибка произошла оттого, что хотѣли опредѣлить предложеніе вообще, предложеніе всякаго человѣческаго языка. Различные языки имѣютъ различныя по формѣ предложенія. Желая опредѣлить предложеніе вообще, изслѣдователи естественно должны были устранить изъ этого опредѣленія формальныя различія, а тогда оставалось только одно содержаніе, при чемъ формальная сторона должна была быть сведена къ одному только „словесному выраженію“.

И дѣйствительно, если мы припомнимъ приведенныя выше опредѣленія предложенія, то насъ должна поразить необыкновенная близость этихъ опредѣленій къ опредѣленію языка: „языкъ есть членораздѣльное выраженіе мысли при помощи звуковъ“ — это почти то же самое, что „мысль, выраженная словами“. Если Пауль и Вундтъ, сообразно со своими научными взглядами, даютъ предложенію другое психологическое содержаніе, то они только иначе характеризуютъ языковую дѣятельность. То же самое, въ сущности, повторяетъ и Дельбрюкъ, подчеркивая только цѣльность и связность предложенія. И это совпаденіе опредѣленія языка съ опредѣленіемъ предложенія вовсе не случайно: если мы, опредѣляя предложеніе, устраняемъ его форму, то въ понятіи „предложенія вообще“ остается почти то же самое, что и въ понятіи человѣческаго языка вообще. Съ двухъ различныхъ сторонъ мы приходимъ къ одному и тому же отвлеченному понятію, и только различіе словъ скрываетъ тождество содержанія.

Въ предложеніи формальная сторона является самою существенною: предложеніе есть организованная единица нашей рѣчи и опредѣлять его, не описывая его составныхъ частей и взаимной ихъ связи между собою, невозможно. Какъ опредѣлить органическую клѣтку, не говоря изъ чего она состоитъ? Какъ опредѣлить кругъ, не говоря о центрѣ и радіусѣ?

Ошибочность логическаго и психологическаго опредѣленія предложенія выступаетъ еще ярче съ точки зрѣнія историко-сравнительной грамматики. Мы знаемъ, что первоначальное индо-европейское предложеніе было иное, нежели

предложенія каждаго отдѣльнаго индоевропейскаго языка: въ немъ съ теченіемъ времени развились новыя грамматическія категоріи, которыхъ не было раньше; слѣдовательно строй предложенія измѣнялся. Первобытное предложеніе было, несомнѣнно, мало похоже на позднѣйшія формы предложенія.

Первый, кто указалъ на бесплодность общихъ опредѣленій предложенія, былъ покойный Харьковскій профессор Александръ Афанасьевичъ Потебня. Въ своемъ замѣчательномъ сочиненіи „Изъ записокъ по русской грамматикѣ“ онъ говоритъ слѣдующее: „Строго говоря, исторія языка на значительномъ протяженіи времени должна давать цѣлый рядъ опредѣленій предложенія, и если бываетъ иначе, то это зависитъ лишь отъ несовершенства наблюденій“ (т. I.<sup>1</sup>, стр. 101. И далѣе: „Существенный признакъ предложенія въ нашихъ языкахъ состоитъ въ томъ, что въ предложеніе входятъ части рѣчи; если ихъ нѣтъ, то нѣтъ и нашего предложенія“ (ibid. стр. 84). Отсюда ясно, что говоритъ о предложеніи вообще нѣтъ никакого смысла. А чтобы дать понятіе объ индоевропейскомъ предложеніи, необходимо рассмотреть его строй.

Сравнительная грамматика установила, что въ индоевропейскомъ первоначальномъ языкѣ существовало два типа предложенія: именное и глагольное. Именное предложеніе слагалось изъ двухъ именъ, изъ которыхъ одно являлось въ функціи подлежащаго, а другое — въ функціи сказуемаго. Никакого вспомогательнаго глагола въ этомъ предложеніи не было. Этотъ типъ можетъ быть прекрасно иллюстрированъ современнымъ русскимъ языкомъ, который часто употребляетъ предложенія безъ связки, какъ напр. „луна планета“.

Рядомъ съ именнымъ предложеніемъ существовало и глагольное, — типъ, наиболѣе распространенный въ индоевропейскихъ языкахъ и въ настоящее время господствующій. Въ этомъ предложеніи сказуемое выражается личною формою глагола; напр. „луна свѣтитъ“.

Прежде чѣмъ перейти къ разбору состава предложенія, намъ нужно рассмотреть, по крайней мѣрѣ въ главныхъ чертахъ, такъ называемыя части рѣчи. Частями рѣчи называютъ обыкновенно болѣе общія грамматическія категоріи, выходящія за предѣлы одного предложенія, и составляющія матеріалъ, изъ котораго слагается предложеніе. Эти категоріи, вырабатываются, конечно, тоже внутри предложенія,

но получают самостоятельное значеніе, такъ какъ могутъ играть въ предложеніи различныя роли; напр. существительное имя можетъ быть и подлежащимъ, и дополненіемъ, и сказуемымъ; имя прилагательное — и опредѣленіемъ и сказуемымъ и т. д. Главныя части рѣчи: глаголь и имя, которое въ свою очередь распадается на имя существительное и имя прилагательное.

Посмотримъ, что обозначаютъ эти три грамматическія категоріи. Обычное, школьное опредѣленіе говоритъ, что существительное есть названіе предмета, прилагательное — названіе качества, а глаголь обозначаетъ дѣйствіе или состояніе. Нетрудно убѣдиться, что эти опредѣленія неточны, неправильны. Дѣйствительно, обратимъ вниманіе на самую форму этихъ опредѣленій. Прилагательное обозначаетъ „качество“; но вѣдь слово „качество“, которое обозначаетъ качество, есть существительное имя; слѣдовательно качество можетъ обозначаться и существительнымъ именемъ. Глаголь обозначаетъ дѣйствіе или состояніе; но слова „дѣйствіе“ и „состояніе“ — тоже существительныя имена; стало быть, и существительное можетъ обозначать дѣйствіе или состояніе. Ясно, что наши опредѣленія не схватываютъ существа дѣла.

Чтобы понять разницу между этими частями рѣчи нужно сравнить ихъ между собою при такихъ условіяхъ, когда значенія ихъ, именно какъ частей рѣчи, выступаютъ съ наибольшею ясностью. Для этого подыщемъ существительныя, прилагательныя и глаголы, въ основѣ которыхъ лежитъ одно и тоже главное представленіе; напр. камень — каменный — каменѣть, бѣлизна — бѣлый — бѣлѣть, дѣло — дѣльный — дѣлаеть, даль — дальній — удаляетъ, дерево — деревянный — деревенѣть, движеніе — подвижной — двигаетъ. Каждая изъ приведенныхъ группъ словъ обозначаетъ одно и то же представленіе камня, бѣлаго цвѣта, дѣла, дали, дерева, движенія, но каждое изъ трехъ словъ различно представляетъ то же самое содержаніе. Отсюда видно, что разница между существительнымъ, прилагательнымъ и глаголомъ заключается не въ содержаніи, а въ формѣ представленія: дѣло не въ томъ, что обозначаетъ существительное, прилагательное и глаголь, а въ томъ, какъ обозначаетъ. И предметъ, и качество, и дѣйствіе могутъ быть обозначены существительнымъ именемъ: „камень, дерево“ — предметы,

„бѣлизна“ — качество, „дѣло, движеніе“ — дѣйствія. Они же могутъ быть обозначены и прилагательнымъ именемъ: „каменный, деревянный“ — „бѣлый“ — „дѣльный, подвижной“; то же нужно сказать и о глаголѣ: „каменѣть, деревенѣть“ — „бѣлѣть“ — „дѣлаетъ, двигаетъ“. Разница сводится къ тому, что существительное называетъ что бы то ни было независимо отъ всякаго отношенія къ чему бы то ни было другому (камень, дерево, бѣлизна, движеніе); прилагательное тоже называетъ что бы то ни было, но съ указаніемъ на то, что это представленіе должно мыслиться въ чемъ-либо другомъ (каменный, деревянный, бѣлый, подвижной); наконецъ, глаголъ изображаетъ, описываетъ въ различныхъ моментахъ существованіе того же самаго представленія (каменѣть, деревенѣть, бѣлѣть, двигаетъ).

Исторія индо-европейскаго глагола можетъ служить прекрасной иллюстраціей того, какъ глаголъ развивалъ различныя стороны своей грамматической природы, выполняя именно свою первоначальную задачу — живописать, изображать, рассказывать. Я нарочно не говорю, что живописать, изображать, такъ какъ глаголъ въ этомъ отношеніи универсаленъ: онъ можетъ все превратить въ живую картину. Первоначально индо-европейскій глаголъ не имѣлъ категоріи времени; но за то былъ богатъ разнообразными оттѣнками того, что сохранилось въ славянскихъ языкахъ подъ названіемъ видовъ. Но наши виды, какъ они ни разнообразны, все же представляютъ лишь остатокъ того богатства, которымъ обладалъ первоначальный языкъ. Наши виды свелись въ сущности къ очень общимъ категоріямъ видовъ несовершеннаго, совершеннаго и многократнаго, между тѣмъ какъ въ первоначальномъ языкѣ существовали и другія видовыя значенія, болѣе конкретнаго типа. Яснѣе всего отразились эти первоначальные виды въ санскритскомъ языкѣ, гдѣ существуетъ болѣе десяти различныхъ способовъ образованія основы настоящаго времени: ясно, что не категорія настоящаго времени образовывалась этими способами, а обозначалось ими нѣчто иное. Исслѣдованія Б. Дельбрюка показали, что этими образованіями и обозначались виды, или по-нѣмецки, Aktionsarten. Ему удалось установить нѣкоторые изъ этихъ видовъ. Такъ напр. образованіе основы настоящаго времени при помощи удвоенія обозначало, повидимому, сложеніе дѣйствія изъ по-

слѣдовательныхъ мелкихъ однородныхъ актовъ, Въ санскритскомъ языкѣ образуютъ настоящее время при помощи удвоенія такіе, напр., глаголы, какъ „точить“ (çiçāti), „мѣрить“ (mímāti), „пить“ (pibati), „шагать“ (jígāti), „наполнять“ (píparti) „бояться“ (bibhēti), „жевать“ (bápsati) и т. под. Во всѣхъ этихъ случаяхъ дѣйствіе легко разлагается на мелкіе однородные моменты: движенія ножа, который точатъ; откладываніе мѣры при измѣреніи; глотки при питьѣ; дрожь при испугѣ и т. д. Что это былъ исконный способъ обозначенія подобныхъ дѣйствій, видно изъ того, что удвоеніе въ подобныхъ глаголахъ сохранилось и въ другихъ языкахъ: греческое дорическое βίβασι о движеніи танцовщицы, лат. bibere „пить“, греч. πίμπλημι „наполнять“; нѣмецкое beben „дрожать“ соотвѣтствуетъ санскритскому bibhēti „онъ боится“. Пользуясь этимъ указаніемъ можно сдѣлать выводъ, что, если корень bhag- „нести“ образуетъ настоящее время съ удвоеніемъ, то значеніе этого образованія должно быть „постоянно и повторно совершать дѣйствіе несенія“, иначе говоря bíbharti должно значить „носить“, въ противоположность къ bhagati „несеть“. Факты подтверждаютъ это заключеніе. Другія образованія обозначали различные иные оттѣнки дѣйствія: его моментальность или однократность (какъ русское „прыгнуть“), его исходную или конечную точку и т. подобные оттѣнки, которые всѣ, какъ мы видимъ, давали возможность усилить изобразительность глагола.

Для обозначенія прошедшаго времени, какъ и всякаго другого, глаголь не обладалъ никакими средствами. Прошедшее время обозначалось въ предложеніи частицами или нарѣчіями. Одна изъ такихъ частицъ, иноевропейское \*é, повидимому, особенно часто употреблялась въ этомъ смыслѣ и потому примкнула къ системѣ глагола. Это — такъ называемое приращеніе, сохранившееся въ санскритѣ, греческомъ и армянскомъ языкахъ: глагольная форма по ударенію примыкала къ приращенію, которое въ санскритѣ всегда носитъ на себѣ удареніе, а въ греческомъ сохранило удареніе въ большинствѣ случаевъ. Такъ напр. скр. á-bharat „онъ несъ“ вполне соотвѣтствуетъ греческому ἔ-φερον и армянскому еբег. Самая глагольная форма никакъ не обозначала прошедшаго времени, на которое указывало только одно приращеніе.

Когда такимъ образомъ создалась категорія прошедшаго времени съ приращеніемъ, то тѣ формы, которыя не имѣли приращенія и не имѣли вовсе значенія времени, иногда стали пониматься, какъ формы настоящаго времени. Слѣдовательно, категорія настоящаго времени стала выясняться въ противовѣсъ категоріи прошедшаго времени. Настоящее время во всѣхъ индо-европейскихъ языкахъ употребляется и до сихъ поръ въ смыслѣ формы, не имѣющей значенія времени; оно обозначаетъ и то, что относится ко всякому времени; употребляется оно и въ описаніи прошедшихъ событій „для большей живости разказа“, какъ обыкновенно объясняетъ это явленіе школьная грамматика. Живость разказа обуславливается въ данномъ случаѣ вовсе не употребленіемъ настоящаго времени вмѣсто прошедшаго, а тѣмъ, что по первоначальному своему значенію формы эти живописали событія, не обозначая вовсе времени.

Категорія будущаго времени тоже возникаетъ въ сравнительно позднее время. Замѣчательно, что нѣкоторые языки, какъ напр. готскій, вовсе не знаютъ будущаго времени. И въ славянскихъ языкахъ будущее имѣетъ описательную форму: въ русскомъ языкѣ будущее тоже обычно выражается при помощи вспомогательнаго глагола б у д у, какъ въ нѣмецкомъ при помощи *ich werde*. Мы увидимъ, что и русское будущее простое есть категорія сравнительно новая. Въ индо-европейскомъ языкѣ начало складываться такъ называемое сигматическое будущее, которое сохранилось въ санскритѣ, греческомъ и литовскомъ языкахъ; но и въ нихъ образованія этого будущаго все же не вполне тождественны. Замѣчательно, что во многихъ языкахъ значеніе будущаго времени можетъ выражаться формою настоящаго времени: напр. греческое *εἶμι* значитъ „я иду, пойду“, русское *иду* часто тоже имѣетъ значеніе будущаго, въ нѣмецкомъ *ich komme gleich* значитъ „сейчасъ приду“, и въ санскритѣ всякое настоящее время можетъ имѣть и значеніе будущаго. Въ связи съ этимъ стоитъ и русское будущее простое глаголовъ совершеннаго вида: форма настоящаго времени совершеннаго вида всегда можетъ имѣть значеніе будущаго времени. Школьный педантизмъ считаетъ эту форму будущимъ временемъ; но при этомъ забываютъ, что это форма часто употребляется безъ всякаго оттънка времени, подобно настоящему, сохраняя

неизмѣнно лишь свое видовое значеніе. Такъ бываетъ чаще всего въ описаніяхъ, гдѣ т. наз. будущее совершенное чередуется съ настоящимъ временемъ. Такъ напр. у С. Аксакова мы читаемъ: „Вечеромъ также рыба беретъ охотнѣе . . . особенно поздно вечеромъ: тогда и крупная рыба начнетъ смѣло ходить около береговъ“ (т. V. (1886), стр. 34). Или другой примѣръ съ большимъ количествомъ такихъ будущихъ: „Хотя иногда набѣжитъ туча съ грозой . . . и крупнымъ дождемъ, который забьетъ ваши наплавки подъ траву, въ шумныя брызги и пузыри изрубитъ гладкую поверхность воды, возмутитъ её, если она не глубока, . . . такъ измѣнитъ положеніе мѣста, что вы сами его не узнаете . . . Но туча пронеслась, влажная парная теплота разливается въ воздухъ . . . все приходитъ въ порядокъ“. (т. V. стр. 35). Едвали во всѣхъ такихъ случаяхъ можно говорить о будущемъ времени. Мы можемъ, слѣдовательно, сказать, что въ подобныхъ случаяхъ мы встрѣчаемся съ настоящимъ временемъ совершеннаго вида. Даже самый вспомогательный глаголъ „буду“, образующій сложное будущее, не всегда имѣетъ значеніе будущаго времени; хотя учительскій педантизмъ старается искоренить такія выраженія, какъ „пятью восемь будетъ сорокъ“; но я думаю, что въ формѣ вопроса необходимо сказать: „сколько будетъ пятью восемь?“ Хорошіе примѣры такого употребленія формы „будетъ“ мы встрѣчаемъ въ болѣе старомъ русскомъ языкѣ; напр. у Котошихина (210) мы читаемъ: „А будетъ у самого царя подъ Москвою и въ городахъ въ дворцовыхъ волостяхъ и селахъ крестьянъ съ 30.000 дворовъ, кромѣ бобылей“. Здѣсь, конечно, не можетъ быть рѣчи о будущемъ времени.

Однако несомнѣнно, что настоящее совершеннаго вида приняло значеніе будущаго времени въ русскомъ языкѣ. Возникновеніе значенія будущаго времени въ этихъ формахъ объясняется слѣдующимъ образомъ. Есть много глаголовъ, обозначающихъ начальный пунктъ дѣйствія; таковы, на примѣръ, встать, начать, пойти, засвѣтить, проглянуть и т. под. Настоящее время такихъ глаголовъ обозначаетъ, стало быть, одинъ только исходный пунктъ такого дѣйствія; слѣдовательно, самое дѣйствіе или его продолженіе должно лежать уже въ будущемъ времени. Такимъ обра-

зомъ формы: встанеть, начнеть, поидеть, засвѣтитъ, проглянеть и т. под. получаютъ подобный смыслъ будущаго времени, который постепенно развивается въ категорию будущаго времени. Такъ дѣло обстоитъ, повидимому, во всѣхъ тѣхъ языкахъ, гдѣ будущее имѣеть форму настоящаго времени. Но такъ же дѣло шло, повидимому, и въ первоначальномъ языкѣ: по крайней мѣрѣ сигматическое образованіе свойственно не только будущему времени, но и аористу, а аористъ есть образованіе, развившееся изъ формъ совершеннаго вида; стало быть и въ первоначальномъ языкѣ образованіе будущаго времени стояло въ связи съ выраженіемъ совершеннаго вида.

Вы видимъ, что категориіи времени развиваются въ глаголѣ на нашихъ, глазахъ и онѣ служатъ въ сущности той же цѣли, которую имѣлъ глаголъ съ самаго начала. Дѣйствительно, для болѣе живого изображенія событій часто бываютъ нужны средства для обозначенія послѣдовательности дѣйствій, и грамматическія категориіи времени, очевидно, служатъ этой цѣли. Поэтому было бы ошибочно видѣть въ нихъ отраженіе философскихъ категорій времени: съ точки зрѣнія философской возможны лишь три времени: прошедшее, настоящее и будущее, между тѣмъ какъ въ индоевропейскихъ языкахъ мы встрѣчаемъ весьма разнообразныя системы временъ съ многочисленными прошедшими временами (*imperfectum*, *perfectum*, *plusquamperfectum*, аористъ), а иногда, какъ въ латинскомъ, съ двумя будущими.

Развитіе грамматической категориіи времени можетъ служить типическимъ примѣромъ развитія грамматическихъ категорій вообще. Побочное значеніе грамматической формы, вовлеченное въ строй предложенія, можетъ при благоприятныхъ условіяхъ развиться въ самостоятельную грамматическую категорию. Иногда такое значеніе слова оказывается совершенно излишнимъ съ точки зрѣнія выраженія мысли, и тѣмъ не менѣе грамматическая категорія развивается весьма пышно. Такой случай представляетъ, напр., категорія грамматическаго рода.

Грамматическій родъ (мужескій, женскій и средній) развился, несомнѣнно, изъ обозначенія естественнаго различія людей и животныхъ по поламъ, и исходною точкою для его

возникновенія послужили, повидимому, нѣкоторыя имена на -а женскаго рода, обозначающія особи женскаго пола; таковы были названія „жены“, „женщины“ и нѣкоторыхъ животныхъ женскаго пола. Въ противоположность этимъ названіямъ особей женскаго пола, названія особей мужскаго пола, очевидно, воспринимались съ побочнымъ значеніемъ мужскаго рода, и изъ этой противоположности возникла уже грамматическая категорія рода. Это видно изъ того, что даже тѣ существительныя, которыя не приняли ни мужскаго, ни женскаго рода, все же понимались, какъ обладающія какою-то грамматическою категоріей, получившею названіе средняго рода. Средній родъ не имѣетъ опоры ни въ чемъ, кромѣ самаго грамматическаго строя нашей рѣчи, тѣмъ не менѣе онъ представляетъ столь же реальную грамматическую категорію, какъ и мужскій и женскій родъ. Въ тѣхъ языкахъ, въ которыхъ сохранилась категорія средняго рода, въ сущности продолжался процессъ распредѣленія всѣхъ именъ существительныхъ по двумъ родамъ: мужскому и женскому. Въ нѣкоторыхъ языкахъ этотъ процессъ благополучно и закончился: такъ въ латинскомъ языкѣ еще существуетъ три рода, а въ романскихъ, какъ во французскомъ и итальянскомъ, уже только два рода: имена средняго рода по большей части примкнули къ мужскому роду. Въ дальнѣйшемъ развитіи категорія грамматическаго рода можетъ снова исчезнуть, такъ какъ для выраженія нашей мысли она совершенно излишня: такой примѣръ представляетъ современный англійскій языкъ, уже не знающій категоріи грамматическаго рода, кромѣ незначительныхъ остатковъ въ системѣ мѣстоименій.

Подобнымъ же образомъ возникла въ русскомъ языкѣ грамматическая категорія названій одушевленныхъ предметовъ, какъ выражаются въ нашихъ школьныхъ грамматикахъ. Но проявленіе этой категоріи ограничивается однимъ только винительнымъ падежомъ, который въ именахъ одушевленныхъ предметовъ сходенъ съ родительнымъ падежомъ: „я вижу сына“, но „я вижу домъ“. По этимъ слабымъ зачаткамъ трудно предсказать этой грамматической категоріи успѣшное развитіе въ будущемъ: едва ли она создастъ новыя грамматическія различія.

Послѣ этого краткаго обзора главныхъ частей рѣчи съ

ихъ грамматическими категоріями, возвратимся снова къ строю предложенія и разберемъ значеніе такъ называемыхъ частей предложенія. Части предложенія обыкновенно дѣлятся на главныя и второстепенныя; къ главнымъ относятся подлежащее и сказуемое, къ второстепеннымъ — опредѣленіе, дополненіе и обстоятельство. Противъ такого дѣленія въ сущности нѣтъ основанія возставать, только отнюдь не слѣдуетъ думать, что главныя части предложенія передаютъ главное содержаніе нашей мысли, а второстепенныя сообщаютъ менѣе важныя подробности. Важность сообщаемого въ рѣчи обыкновенно отбѣняется удареніемъ, и наиболѣе важная подробность можетъ быть выражена и второстепенною частью предложенія. Подлежащее и сказуемое могутъ быть названы главными частями предложенія лишь въ томъ смыслѣ, что они составляютъ главный остовъ предложенія, къ которому уже примыкаютъ другія части.

На вопросъ что такое подлежащее, школьная грамматика отвѣчаетъ: „подлежащее есть предметъ, о которомъ говорится въ предложеніи“. Лучше всего опровергаетъ неправильность этого опредѣленія Потенія слѣдующимъ примѣрнымъ урокомъ: „Не заботьтесь о завтрашнемъ днѣ“ — О чемъ здѣсь говорится? — О завтрашнемъ днѣ. — Нѣтъ, не то! Какой главный предметъ этой рѣчи? — Чтобы мы не заботились. — Нѣтъ, предметъ, о которомъ здѣсь говорится, это — вы, второе лицо. — Но вѣдь о насъ здѣсь ничего не говорится!<sup>1)</sup> Въ предложеніи „топоромъ рубятъ“ говорится о топорѣ, но слово „топоромъ“ вовсе не подлежащее; въ предложеніи „въ пещерѣ темно“ говорится о пещерѣ, но слова „въ пещерѣ“ тоже не подлежащее. Такія предложенія встрѣчаются такъ часто, что при выясненіи вопроса о подлежащемъ ихъ необходимо имѣть въ виду. Во всякомъ случаѣ они совершенно ясно показываютъ, что подлежащее не можетъ быть опредѣлено, какъ предметъ, о которомъ говорится въ предложеніи. Ошибка опять заключается въ томъ, что подлежащее опредѣляется по содержанію, а не по формѣ. Какая же форма дѣлаетъ слово подлежащимъ? Подлежащее необходимо должно быть именительнымъ падежомъ существительнаго имени. Что это дѣйст-

1) Изъ запис. по рус. грам. II, 87 сл.

вительно такъ, видно изъ того, что всякое слово, играющее роль подлежащаго непременно сознается нами, какъ именительный падежъ. Если во многихъ случаяхъ, когда это — слово неизмѣняемое, мы не можемъ ясно доказать этого, тѣмъ не менѣе бываютъ случаи, когда категорія именительнаго падежа принимаетъ совершенно ясныя формы. Такъ въ Пушкинскомъ „далече грянуло ура“, не ясно, что „ура“ сознается, какъ именительный падежъ, хотя на это указываетъ отчасти слово „грянуло“; но въ такомъ предложеніи, какъ „ахи да охи дѣлу не помогутъ“, междометія приняла даже окончанія именительнаго падежа множественнаго числа соотвѣтственно той роли подлежащаго, которую они играютъ въ предложеніи. — Несомнѣнно также, что подлежащее должно быть существительнымъ именемъ. Если иногда роль подлежащаго можетъ играть и прилагательное, то оно всегда при этомъ превращается въ существительное. Школьная грамматика для объясненія этого явленія обыкновенно прибѣгаетъ къ предположенію пропуска существительнаго: говорятъ при этомъ, что то или другое существительное подразумѣвается; но это предположеніе пропуска всегда представляетъ нѣкоторую натяжку, а иногда и вовсе не можетъ быть оправдано. Такъ напр. предложеніе „больной провелъ ночь спокойно“ обычно объясняется пропускомъ слова „человѣкъ“, но стоитъ только подставить это слово въ наше предложеніе, чтобы увидѣть, что эта прибавка совершенно измѣнить значеніе фразы: „больной человѣкъ провелъ ночь спокойно“ имѣетъ совершенно другой смыслъ. Но въ такихъ предложеніяхъ, какъ „все его раздражало“ или „это его разстроило“ или „одно его радовало, другое печалило“ не возможно придумать никакого пропущеннаго слова. Мы должны слѣдовательно признать, что психологически съ категоріею подлежащаго въ нашемъ сознаніи связаны категоріи именительнаго падежа и существительнаго имени.

Можетъ возникнуть сомнѣніе относительно правильности нашего опредѣленія подлежащаго, такъ какъ именительный падежъ является также падежомъ именного сказуемаго. Но появленіе именительнаго падежа въ именномъ сказуемомъ, повидимому, слѣдуетъ объяснять, какъ слѣдствіе согласованія съ подлежащимъ. Это подтверждается тѣмъ обстоятельствомъ, что имя сказуемаго обыкновенно отличается

отъ подлежащаго меньшею формальностью: въ русскомъ языкѣ прилагательныя т. наз. качественныя имѣютъ особую форму краткаго окончанія, являющуюся исключительно въ функціи сказуемаго; то же явленіе наблюдается въ греческомъ языкѣ, гдѣ имя сказуемаго не имѣетъ члена; но характернѣе всего проявляется эта тенденція въ нѣмецкомъ языкѣ, гдѣ прилагательное имя, какъ сказуемое, не имѣетъ никакихъ формальныхъ признаковъ: ни рода, ни числа, ни падежа: *der Tisch ist hoch* „столъ высокъ“, *die Bank ist hoch* „скамья высока“, *die Tische sind hoch* „столы высоки“, *die Bänke sind hoch* „скамьи высоки“. Это явленіе находитъ себѣ естественное объясненіе въ томъ, что именное сказуемое должно указывать лишь общее представленіе, обозначаемое въ словѣ его основою, а всѣ формальныя отношенія выражаются при этомъ связкою, о которой будетъ рѣчь въ дальнѣйшемъ.

Говоря о подлежащемъ, нельзя не упомянуть о томъ, что иногда его можетъ и не быть въ предложеніи: такія предложенія носятъ названіе безличныхъ, или безсубъектныхъ. Они обыкновенно отражаютъ нерасчлененное, неанализированное впечатлѣніе или смутное, неясное настроеніе: „прогромыхиваетъ“, „смеркается“, „знобитъ“ и т. под. Но и въ этихъ случаяхъ во многихъ языкахъ вліяніе обычнаго типа предложенія сказывается въ томъ, что формальное подлежащее все же занимаетъ свое мѣсто, хотя къ смыслу предложенія оно ничего не прибавляетъ: подлежащее выражается въ этихъ случаяхъ мѣстоименіемъ, напр. нѣмецкое *es scheint* „кажется“, франц. *il semble* и т. под.

Сказуемымъ глагольнаго предложенія является глаголь въ личной формѣ. Такъ какъ глаголь характеризуется именно личными формами, то можно сказать, что въ индоевропейскихъ языкахъ глаголь есть грамматическая форма сказуемаго. Это настолько справедливо, что глагольное сказуемое въ большинствѣ индоевропейскихъ языковъ распространилось и на именное предложеніе, въ которомъ глаголь превратился въ связку. Это явленіе настолько характерно для строя индоевропейскаго предложенія, что на немъ слѣдуетъ остановиться нѣсколько подробнѣе.

Что такое связка? Связкою мы обыкновенно называемъ такой глаголь, который не имѣетъ никакого другого зна-

ченія, кромѣ значенія грамматическихъ категорій, связанныхъ съ глаголомъ. Эта же его особенность дала ему и другое названіе: мы называемъ его вспомогательнымъ глаголомъ, такъ какъ онъ обыкновенно не играетъ въ предложеніи самостоятельной роли. Въ индоевропейскихъ языкахъ такими вспомогательными глаголами были два корня: \*es- и \*bhū-. Къ первому корню относятся славянскій глаголь есмь, латинскій sum, греческій εἰμι, санскритскій a smi и т. д. Второй корень также сохранился во всѣхъ почти языкахъ, нерѣдко дополняя недостающія формы корня \*es-: славянскій аористъ **быхъ**, лат. perf. fui, греч. aor. ἔφυν, скр. bhavati „бываетъ, дѣлается“. Такъ какъ подобные вспомогательные глаголы нерѣдко создаются и въ историческіе періоды языка, то мы можемъ составить себѣ довольно ясное представленіе о томъ, какъ создалась связка. Мы знаемъ, напримѣръ, что нѣмецкій вспомогательный глаголь werden „дѣлаться“ стоитъ въ связи съ латинскимъ vertere „вертѣть“, русскимъ вертѣть и т. д. Отсюда мы можемъ заключить, что значеніе „дѣлаться“ получило приблизительно тѣмъ же путемъ, какъ въ русскомъ языкѣ выраженіе „обернуться волкомъ“ приблизилось къ значенію „сдѣлаться волкомъ“. Мы знаемъ далѣе, что нѣмецкое прошедшее wag къ глаголу sein „быть“ восходитъ къ индоевропейскому корню \*wes-, который мы находимъ въ санскритскомъ глаголѣ vas-ati „онъ живетъ“. Это показываетъ, что нѣм. wag закончило то превращеніе въ связку, которое въ зачаточномъ состояніи мы находимъ въ русской пословицѣ „денежка покатна живетъ“. Однимъ словомъ, всѣ эти примѣры показываютъ, что первоначально и вспомогательные глаголы имѣли совершенно опредѣленное значеніе, которое ими было утрачено лишь въ связи предложенія. Сравнительная грамматика показываетъ, что корнемъ \*bhū-, повидимому, обозначалось представленіе „прозябанія, роста (травы)“; на это указываютъ греч. φυτόν „растеніе“, слав. **быліе**, русское былинка. Первоначальное значеніе корня \*es- менѣе для насъ ясно, но во всѣхъ языкахъ этотъ глаголь сохранился не только въ функціи связки, но и какъ самостоятельный глаголь со значеніемъ „существовать“. Отсюда мы можемъ заключить, что и эти самые старые вспомогательные глаголы превратились въ связки тѣмъ же путемъ. Первоначально они сопровож-

дали именное сказуемое, какъ глаголь живописующій явленіе: это — стадія нашего „денежка покатна живеть“. Но такъ какъ въ этихъ сочетаніяхъ главное значеніе сказуемаго сосредоточивалось въ его именной части, то глаголь мало по малу утрачивалъ свое первоначальное значеніе сказуемаго и сталъ играть роль чисто формальнаго глагола, въ которомъ не осталось ничего, кромѣ значеній грамматическихъ категорій времени, наклоненія, числа и лица. Въ такихъ предложеніяхъ какъ „онъ былъ боленъ“, „онъ будетъ боленъ“, „будь боленъ“ и т. д. формы „былъ“, „будеть“, „будь“ обозначаютъ одни только чистыя грамматическія категоріи 3 л. ед. ч. прошедшаго времени, 3 л. ед. ч. будущаго времени, 2 л. ед. ч. повелительнаго наклоненія. Китайцы такія слова называютъ пустыми словами, и они совершенно правы съ точки зрѣнія такъ называемыхъ реальныхъ значеній слова. Но эта же самая пустота связки показываетъ наиболѣе ярко всю важность грамматическихъ категорій въ самомъ строѣ предложенія. Связка дѣлается такимъ ферментомъ, который можетъ превратить въ сказуемое какое угодно слово. Связка, слѣдовательно, можетъ быть признана чистою грамматическою формою сказуемаго.

Во всѣхъ школьныхъ грамматикахъ можно найти утвержденіе, что предложеніе не можетъ существовать безъ сказуемаго. Однако едва ли это такъ. Во всякомъ случаѣ и въ разговорной рѣчи и въ литературѣ предложенія безъ сказуемаго встрѣчаются очень часто. Я не говорю при этомъ о такихъ обломкахъ предложеній, которые легко дополняются изъ связи рѣчи, я имѣю въ виду настоящія предложенія, которыми мы выражаемъ наши мысли. Если напр. мы говоримъ нерѣдко: „Хорошая погода“, то едва ли кто-нибудь станетъ отрицать, что здѣсь заключается предложеніе, такъ какъ смыслъ нашихъ словъ почти вполне совпадаетъ съ предложеніемъ: „погода хороша“. Предполагать здѣсь пропускъ вспомогательнаго глагола едва ли возможно. Наконецъ, даже въ литературѣ мы встрѣчаемъ такія предложенія, въ которыхъ трудно было бы что-либо подразумевать, но которымъ тѣмъ не менѣе трудно отказать въ правѣ называться предложеніемъ. Такъ напр. у Фета мы читаемъ:

Шопоть. Робкое дыханье.	Свѣтъ ночной. Ночныя тѣни —
Трели соловья,	Тѣни безъ конца.
Серебро и колыханье	Рядъ волшебныхъ измѣненій
Соннаго ручья.	Милаго лица.

Въ дымныхъ тучкахъ пурпуръ розы.

Отблескъ янтаря.

И лобзанія и слезы

И заря, заря!

Мнѣ кажется, что такія предложенія безъ глагольнаго сказуемаго имѣютъ одинаковое право на существованіе, какъ и предложенія безличныя. Они особенно умѣстны въ описаніяхъ, гдѣ достаточно простыхъ именъ существительныхъ и прилагательныхъ и не чувствуется надобности въ глагольной энергіи. Этимъ опредѣляется ихъ сравнительно узкая сфера употребленія. Но не признавать ихъ предложеніями, мнѣ кажется, мы не имѣемъ никакого права.

Вотъ хорошій примѣръ такихъ предложеній въ перемежку съ глагольными изъ Льва Толстого. Описаніе побѣга изъ тюрьмы („Фальшивый купонъ“): „Онъ схватился за желобъ, и вотъ колѣнка его на крышѣ. Часовой идетъ. Василій легъ и замеръ. Часовой не видитъ и опять отходить. Василій вскакиваетъ. Желѣзо трещитъ подъ ногами. Еще шагъ, два, вотъ стѣна. До стѣны легко достать рукой. Одна рука, другая, вытянулся весь, и вотъ на стѣнѣ. Только бы не разшибиться спрыгивая. Василій переворачивается, виснетъ на рукахъ, вытягивается, пускаетъ одну руку, другую, — Господи, благослови! — На землѣ. И земля мягкая. Ноги цѣлы и онъ бѣжитъ“.

Нѣчто подобное можно видѣть, мнѣ думается, въ латинскихъ предложеніяхъ съ такъ называемымъ *infinitivus historicus*: такъ какъ неопредѣленное наклоненіе есть именная форма глагола, то и эти латинскія предложенія мы должны признать неимѣющими глагольнаго сказуемаго. Аналогія сказывается еще и въ томъ, что *infinitivus historicus* употребляется именно въ описаніяхъ, когда личная форма глагола оказывается слишкомъ энергичной. Напр. Liv. IV, 37, 11: *nondum fuga certa, nondum victoria erat: tegi magis Romanus quam pugnare; Volscus inferre signa, urgere aciem, plus caedis hostium viderere quam fugae* „ни побѣда,

ни бѣгство еще не выяснились : римляне скорѣ защищались, чѣмъ сражались; вольски наступали, тѣснили, но видѣли, какъ враги умирали, но не отступали“.

Далѣ переходимъ къ второстепеннымъ членамъ предложія . Къ нимъ обыкновенно относятся опредѣленіе, дополненіе и обстоятельство. На вопросъ, что такое опредѣленіе, школьная грамматика отвѣчаетъ практическимъ правиломъ : опредѣленіе отвѣчаетъ на вопросы : какой? который? чей? сколько? Если опредѣленіе или какая либо другая часть предложія опредѣляется по вопросамъ, то это значить, что при этомъ принимается во вниманіе не форма выраженія, а содержаніе. Мы видѣли, что эта точка зрѣнія не можетъ дать положительныхъ результатовъ, и на примѣрѣ опредѣленія мы лишній разъ убѣждаемся въ этомъ. Дѣйствительно, на одинъ и тотъ же вопросъ мы можемъ отвѣчать весьма различно. Такъ напр. на вопросъ „какая шуба?“ мы можемъ отвѣчать „лисыя“, „съ барашковымъ воротникомъ“, „чернаго цвѣта“, „на ватѣ“ и т. под. На вопросъ „чей домъ?“ можно получить тоже различные отвѣты : „мой“, „купчихинъ“, „Ивана Петровича“. Столь же большое разнообразіе отвѣтовъ можно получить и на вопросъ „сколько рублей?“ : „одинъ“, „два“, „пять“, „много“, „десятокъ“ и т. под. На вопросъ „какой домъ?“ мы тоже можемъ отвѣтить : „красный“, „четвертый“ и т. д. Школьная грамматика всѣ эти отвѣты должна одинаково признавать опредѣленіями, хотя нѣкоторые изъ приведенныхъ отвѣтовъ положительно неудобно признавать опредѣленіями, какъ напр. слово „пять“ въ сочетаніи „пять рублей“. Неудобство такого способа выясненія опредѣленія заключается именно въ томъ, что подъ именемъ опредѣленія приходится понимать не только различныя формы, но и различныя сочетанія словъ : „дубовая палка“ и „палка съ загнутымъ концомъ“, „красный носъ“ и „носъ крючкомъ“ толкуются какъ выраженія одинаковаго состава. Разобраться въ этомъ можетъ намъ помочь только формальная точка зрѣнія : между частями рѣчи есть такая, которая всегда въ предложіи является опредѣленіемъ, это — прилагательное имя. Только принявши за правило, что опредѣленіе должно быть выражено прилагательнымъ, мы можемъ выбраться изъ лабиринта нашихъ отвѣтовъ на вопросы какой? который? чей? и сколько? Опредѣленія мы усмотримъ

тогда только въ выраженіяхъ: лисья шуба, мой домъ, купчихинъ домъ, одинъ рубль, красный домъ, четвертый домъ, дубовая палка, красный носъ; всѣ остальные выраженія придется объяснять иначе.

Для дополненія въ школьныхъ грамматикахъ принять уже другой критерій: необходимымъ признакомъ дополненія считается то, что оно относится къ глаголу. Но отъ глагола къ имени существуетъ очень постепенный и незамѣтный переходъ: если причастіе обыкновенно относится къ системѣ глагола, и потому можно допустить существованіе дополненія къ причастію, то отглагольные существительныя обыкновенно не относятся къ системѣ глагола, и при нихъ дополненіе должно считаться невозможнымъ. Однако мы постоянно встрѣчаемъ при такихъ существительныхъ ту же конструкцію, какъ и при соответствующихъ глаголахъ. Напр.: „поклоненіе идоламъ“, при глаголѣ „поклоняюсь идоламъ“ и причастіи „поклоняющийся идоламъ“; „служеніе людямъ“ при глаголѣ „служу (служащій) людямъ“; „увлеченіе спортомъ“ („увлекаюсь спортомъ“); „боязнь смерти“ („боюсь смерти“) и т. д. Если мы, слѣдуя правилу школьной грамматики, не будемъ признавать дополненія при существительномъ имени, то мы этимъ нарушимъ естественную связь двухъ одинаковыхъ конструкцій при глаголѣ и соответствующемъ существительномъ и искусственно раздѣлимъ то, что въ сознаніи нашемъ тѣсно связано между собою. Затрудненіе это получается опять таки потому, что мы ищемъ признаковъ дополненія не въ немъ самомъ, а въ томъ, съ чѣмъ оно связано: понятно, что при такихъ условіяхъ мы одно и то же слово съ совершенно тождественнымъ значеніемъ одинъ разъ признаемъ дополненіемъ, а другой разъ — нѣтъ. И здѣсь выходъ изъ затрудненія одинъ: дополненіе нужно опредѣлять по формальнымъ признакамъ, заключающимся въ немъ самомъ. Дополненіе есть всякій косвенный падежъ существительнаго имени съ предлогомъ или безъ предлога, къ чему бы онъ ни относился. Дополненіемъ мы будемъ, слѣдовательно, считать и многое такое, что школьная грамматика признаетъ обстоятельствомъ „я иду къ горѣ“, „я живу за рѣкою“, „я былъ въ городѣ“, „я вернулся въ два часа“ и т. д. Это естественно приводитъ насъ къ вопросу объ обстоятельствахъ, которыя лучше всего разсмотрѣть рядомъ съ дополненіями.

Обыкновенно школьная грамматика различаетъ пять видовъ обстоятельствъ: 1) мѣста, 2) времени, 3) образа дѣйствія, 4) причины и 5) цѣли. Что эта классификація — неудовлетворительна, видно уже изъ того, что нѣкоторые авторы учебниковъ раздѣляютъ обстоятельства образа дѣйствія на обстоятельства количественнаго и качественнаго образа дѣйствія, а другіе вводятъ не менѣе странную категорію обстоятельствъ „степени качества“, очевидно, для такихъ непокорныхъ нарѣчій, какъ „весьма, очень“, которыя не подходят ни подъ одинъ изъ установленныхъ видовъ обстоятельствъ. Конечно такая классификація вынуждаетъ снова обратиться къ системѣ вопросовъ, на которые отвѣчаютъ различныя обстоятельства. При этомъ мы, естественно, натолкнемся на тѣ же неудобства этой системы, которыя уже были отмѣчены раньше. На одинъ и тотъ же вопросъ мы можемъ отвѣчать весьма различно: на вопросъ „гдѣ?“, на примѣръ, мы можемъ отвѣтить и нарѣчіемъ „дома“ и существительнымъ съ предлогомъ „въ городѣ, на улицѣ...“; на вопросъ „когда?“ мы отвѣчаемъ и нарѣчіями „рано, поздно, вчера...“, и косвенными падежами существительныхъ „днемъ, ночью...“, и падежами съ предлогами „во вторникъ, подъ праздникъ...“ Однимъ словомъ, и тутъ то же смѣшеніе формъ, что и въ опредѣленіяхъ, и граница между дополненіемъ и обстоятельствомъ оказывается неопредѣленной, неясной.

Для того, чтобы представить себѣ всю непослѣдовательность школьной грамматики въ этомъ вопросѣ, постараемся подыскать такіе глаголы, которые иногда имѣютъ при себѣ такъ называемыя обстоятельства, а иногда — дополненія. Возьмемъ для примѣра три такихъ выраженія: „попалъ въ канаву“, „попалъ въ капканъ“ и „попалъ въ бѣду“. По теоріи школьной грамматики въ первомъ случаѣ („въ канаву“) мы имѣемъ обстоятельство мѣста (отвѣчаетъ на вопросъ „куда?“); второй случай, на мой взглядъ, по той же системѣ можно разбирать и какъ дополненіе и какъ обстоятельство, а въ послѣднемъ случаѣ мы имѣемъ несомнѣнное дополненіе, такъ какъ называть обстоятельствомъ мѣста слова „въ бѣду“ едва ли кто-нибудь рѣшится. Это сопоставленіе показываетъ съ полною ясностью нелѣпость традиціонной классификаціи: разница между тремя выраженіями заключается только въ томъ, что въ первомъ случаѣ

мы имѣемъ дѣло съ канавою, во второмъ — съ капканомъ и въ третьемъ — съ бѣдою; при этомъ канава является обстоятельствомъ въ большей степени, нежели капканъ, а капканъ въ большей степени, нежели бѣда: такова логика этого грамматическаго разбора. Между тѣмъ грамматическая сторона вопроса для всякаго непредубѣжденнаго человѣка совершенно ясна: глаголь „попалъ“ во всѣхъ трехъ случаяхъ имѣетъ одинаковую конструкцію и сочетается съ винительнымъ падежомъ съ предлогомъ „въ“. Это и есть то, что мы называемъ обыкновенно дополненіемъ. Почему же для перваго случая и, можетъ быть, для втораго мы принимаемъ то же самое сочетаніе винительнаго падежа съ предлогомъ „въ“ за обстоятельство мѣста? Причина этому заключается вовсе не въ грамматической формѣ, а въ томъ, что „канавка“ обозначаетъ такое значительное углубленіе поверхности земли, въ которомъ можетъ помѣститься человѣкъ, между тѣмъ какъ „капканъ“ не представляетъ изъ себя такого же вмѣстилища, а „бѣда“ обозначаетъ такое представленіе, которое вовсе не можетъ быть ассоціировано съ понятіемъ мѣста. Съ этой точки зрѣнія понятно, почему дѣленіе обстоятельствъ на пять видовъ оказывается недостаточнымъ: вѣдь мы при этомъ стараемся уловить не грамматическую форму выраженія нашей мысли, а по возможности исчерпать всѣ обстоятельства нашего уклада жизни въ оригинальномъ преломленіи черезъ грамматическую призму. Единственнымъ оправданіемъ такому образу дѣйствій можетъ служить только то, что слово „обстоятельство“ обозначаетъ грамматическую категорію и въ тоже время имѣетъ обыкновенное обиходное значеніе. Система вопросовъ и здѣсь только укрѣпляетъ эту путаницу. Возьмемъ другой любопытный примѣръ сопоставленія слѣдующихъ выраженій: „я шоль лѣсомъ“, „я шоль ночью“ и „я шоль тихимъ шагомъ“. Школьная грамматика видитъ въ первомъ случаѣ обстоятельство мѣста, во второмъ — времени и въ третьемъ — образа дѣйствія. Здѣсь, повидимому, никакихъ сомнѣній быть не можетъ. Но обратимъ вниманіе на то, что во всѣхъ трехъ случаяхъ мы находимъ одну и ту же форму творительнаго падежа. Нашъ разборъ дѣлаетъ очень тонкія различія въ значеніи этихъ выраженій, но къ чему сводятся эти различія? Къ отличенію представлений „лѣса“ „ночи“ и „тихаго шага“, а грамматической формы

творительнаго падежа мы не замѣчаемъ. Понятно, что такой грамматическій разборъ не выясняетъ вовсе грамматической стороны дѣла. Для того, чтобы уловить грамматическую форму съ ея значеніемъ мы должны поступить какъ разъ наоборотъ: не обращать вниманіе на значеніе самаго слова, а выдѣлить по возможности чистое значеніе грамматической формы, въ данномъ случаѣ творительнаго падежа. И здѣсь, не смотря на различіе значеній самыхъ словъ, мы наблюдаемъ одно и то же значеніе творительнаго падежа: онъ всюду обозначаетъ нѣчто сопровождающее дѣйствіе глагола на всемъ его протяженіи.

Этотъ разборъ приводитъ насъ къ тому заключенію, что во всѣхъ приведенныхъ выше случаяхъ мы должны видѣть дополненіе, а не обстоятельство, по установленному уже нами правилу, что косвенные падежи существительныхъ именъ съ предлогами или безъ предлоговъ играютъ въ предложеніи роль дополненій. Но что же тогда останется на долю обстоятельствъ? Чтобы рѣшить этотъ вопросъ необходимо въ самихъ обстоятельствахъ поискать признаковъ, отличающихъ ихъ отъ другихъ частей предложенія и признаки эти должны быть формальными. Такимъ отличительнымъ признакомъ обстоятельства является грамматическая категория нарѣчія: обстоятельство, слѣдовательно, должно всегда имѣть форму нарѣчія.

Исторія нарѣчія въ индоевропейскихъ языкахъ прекрасно подтверждаетъ правильность нашего вывода. Форма нарѣчій во всѣхъ индоевропейскихъ языкахъ указываетъ съ несомнѣнностью на то, что было раньше время, когда нарѣчій не существовало: всѣ нарѣчія возникли изъ дополненій или опредѣленій, и путь этого возникновенія всюду въ общихъ чертахъ одинаковъ. Опредѣленіе или дополненіе, какую бы оно ни имѣло форму, пріобрѣтаетъ первоначально нѣкоторый особый оттѣнокъ значенія, который мы можемъ назвать обстоятельственнымъ. Этотъ особый оттѣнокъ значенія выдѣляетъ данную форму изъ того ряда формъ склоненія или спряженія, съ которымъ она была ассоціирована. Изолированное существованіе этой формы дѣлаетъ её неизмѣняемой, какъ бы окаменѣлой. По большей части нарѣчія сохраняютъ слѣды своего происхожденія. Такъ напр., русскія нарѣчія на -о представляютъ изъ себя винитель-

ный падежъ единств. числа средняго рода краткой формы прилагательнаго: хорошо, мало, долго, криво... Слѣдовательно, по первоначальному значенію выраженіе „писать хорошо“ значитъ „писать нѣчто хорошее“. Ту же форму имѣетъ нарѣчіе нерѣдко въ греческомъ и латинскомъ языкахъ, что указываетъ на тотъ же путь возникновенія: греч. сравнит. степень нарѣчія всегда имѣетъ форму вин. пад. ср. р. ед. ч. *ῥᾶλλον* „скорѣе“, *σαφέστερον* „яснѣе“ и т. д. Замѣтимъ, что и русскія „скорѣе, яснѣе“ представляютъ ту же форму. Въ латинскомъ *paum* „мало“ *seterum* „впрочемъ“ и т. д. Въ нарѣчія могутъ превратиться рѣшительно всѣ падежи, кромѣ звательнаго. Русскія нарѣчія бѣгомъ, кругомъ возникли изъ творительнаго падежа: особое удареніе указываетъ на то, что это нарѣчія, а не живые творительные падежи, которые имѣютъ другое удареніе: бѣгомъ, кругомъ. Нарѣчіе кромѣ есть застывшій мѣстный падежъ, вчера — родительный; нарѣчія вонъ и внѣ представляютъ первое винительный, а второе — мѣстный падежъ уже вышедшаго изъ употребленія слова (древне-слав. *къмъ* и *къмѣ*). Русское нарѣчіе „какъ“ могло возникнуть изъ винительнаго или именительнаго падежа ед. ч. муж. рода. Напр. въ Лаврентьевской лѣтописи <sup>1)</sup> мы читаемъ: „Богу же какъ отвѣтъ дасте“, гдѣ „какъ“ можно еще понимать въ значеніи „какой“, но можно принять и за нарѣчіе. Изъ именительнаго падежа оно могло возникать въ сочетаніяхъ типа „какъ хорошъ“, представляющихъ краткую форму къ сочетанію „какой хорошій“. Множество нарѣчій возникаетъ изъ сочетаній различныхъ падежей съ предлогами: сразу, сначала, зачѣмъ, почему, попусту, вмѣстѣ, вмѣсто; пока, и т. д. Если изолированіе такого сочетанія еще не закончилось, то-есть нарѣчіе еще находится въ процессѣ образованія, то мы не можемъ рѣшить, имѣемъ ли мы дѣло съ однимъ словомъ или съ двумя: отсюда трудные вопросы нашего правописанія, нужно ли писать слитно или раздѣльно такія сочетанія, какъ съ размаху, въ волю, въ пору, въ разрѣзъ и т. под. Гротъ рѣшаетъ этотъ вопросъ такимъ правиломъ: „Слитно писать два слова слѣдуетъ тогда, когда соединеніе ихъ утверждено давностью или общепринятымъ обычаемъ“.

1) Изданіе 3-е Археографич. комиссіи стр. 442, 32-

Гротъ не замѣчаетъ только, что, устанавливая такое правило, онъ какъ будто воспрещаетъ впредь создаваться „общепринятымъ обычаемъ“. Когда эти выраженія окончательно примутъ значеніе нарѣчій, тогда не будетъ уже сомнѣнія и въ „давности“, и въ „общепринятомъ обычаѣ“.

Особенный видъ нарѣчій представляютъ изъ себя русскія дѣепричастія. Формы шутя, играя, смѣясь, сказавъ... представляютъ изъ себя окаменѣвшіе именительные падежи ед. ч. муж. рода, а формы на -вши, какъ сказавши, взглянувши и т. д. и на -учи, -ючи, какъ будучи, и играючи..., народныя сидючи, глядючи... представляютъ формы женскаго рода им. пад. ед. ч. Школьная грамматика по большей части признаетъ такія дѣепричастія, особенно если при нихъ есть дополненія, за сокращенныя придаточныя предложенія, но для этого нѣтъ достаточнаго основанія: „шутя“ иногда вполнѣ равносильно выраженію „въ шутку“, „смѣясь“ = „со смѣхомъ“ и т. д.

Наконецъ, есть довольно много старыхъ нарѣчій, происхожденія которыхъ изъ склоняемыхъ формъ мы не можемъ съ ясностью доказать, но это, конечно, не можетъ служить доказательствомъ того, что они возникли какъ-нибудь иначе. Есть нѣкоторые факты, которые скорѣе вынуждаютъ насъ допустить, что и они возникли тѣмъ же путемъ. Къ такимъ нарѣчіямъ относятся въ особенности нарѣчія мѣстоименнаго происхожденія: „гдѣ“, „куда“, „туда“, „когда“... Но рядомъ съ „туда“ мы имѣемъ діалектическія формы „тудою“ „сюдою“, сохранившія какъ-будто остатки стараго склоненія по образцу: рука — рукою.

Къ такимъ древнимъ нарѣчіямъ относятся и предлоги. На то, что и предлоги произошли тѣмъ же путемъ, какъ и нарѣчія, указываютъ остатки склоненія, которые въ нихъ наблюдаются. Такъ напр. греческіе предлоги *πρό*, *παρός*, *πάρᾱ*, *περί* представляютъ различные падежи одного и того же слова: мы даже можемъ въ нѣкоторыхъ формахъ различить форму падежа: *περί* представляетъ форму мѣстнаго падежа, *πάρᾱ* = творительнаго, *παρός* — родительнаго и аблатива, а латинскій предлогъ *pro* ае есть дательный падежъ того же корня. Предлоги и въ настоящее время возникаютъ изъ нарѣчій, какъ напр. позади, около; лат. *causa* „ради“. Употребленіе предлоговъ, также указываетъ на ихъ нарѣчное

происхождение. Замѣчательно, что въ санскритскомъ языкѣ почти нѣтъ вовсе предлоговъ, соединяющихся съ падежами. Тамъ предлоги употребляются по большей части, какъ предложныя приставки глаголовъ; и то въ древнемъ языкѣ эти приставки не сливались съ глаголомъ въ одно слово, а стояли отдѣльно отъ глагола и нерѣдко отдѣлялись отъ него нѣсколькими словами. Это были въ сущности еще нарѣчія. Такое отдѣленіе предлоговъ отъ глаголовъ мы встрѣчаемъ и въ греческомъ, особенно у Гомера. И въ нѣмецкомъ языкѣ, какъ извѣстно, нѣкоторые предлоги отдѣляются отъ глагола: *ich fange an* „я начинаю“, *ich gebe zu* „я прибавляю“. Въ дальнѣйшемъ развитіи предлоговъ наблюдается два направленія: они примыкаютъ либо къ глаголу, либо къ падежу дополненія, стоящаго при глаголѣ. Понятно, что при такихъ условіяхъ нерѣдко предлогъ, соединяясь съ глаголомъ, развиваетъ одни отгѣнки значенія, а соединяясь съ падежомъ существительнаго — другіе. Въ этой своей длинной исторіи, первоначальное значеніе предлоговъ зачастую настолько стирается, что намъ съ трудомъ удастся опредѣлить его. Предлоги превращаются въ „пустыя слова“ въ китайскомъ смыслѣ этого слова: таковы напр. французское *de* и нѣмецкое *von* въ значеніи родительнаго падежа. Съ точки зрѣнія измѣненія значеній исторія предлоговъ представляетъ одну изъ любопытнѣйшихъ страницъ сравнительной грамматики индоевропейскихъ языковъ. Въ настоящее время мы не считаемъ предлоги самостоятельными словами, если они примыкаютъ къ глаголу, такъ что, говоря о нихъ, мы обыкновенно имѣемъ въ виду сочетанія ихъ съ различными падежами. Однако по смыслу мы все же не считаемъ ихъ самостоятельными словами, хотя и пишемъ раздѣльно: предлоги мы не относимъ къ частямъ предложенія, хотя и считаемъ ихъ частями рѣчи. По своей роли въ предложеніи предлоги выражаютъ тѣ же отгѣнки значенія, которые обозначаются простыми косвенными падежами, а потому падежи съ предлогами, какъ мы уже видѣли, слѣдуетъ считать дополненіями наравнѣ съ падежами безъ предлоговъ.

Нигдѣ логическая точка зрѣнія не оказалась болѣе вредною, какъ съ области синтаксиса сложнаго предложенія. Здѣсь царитъ классификація предложеній по ихъ значенію вмѣстѣ съ полнымъ извращеніемъ исторической

перспективы. Мы начнемъ свой разборъ съ такъ называемыхъ слитныхъ предложеній.

Слитными предложеніями въ школьной грамматикѣ обыкновенно называются такія предложенія, которыя при нѣсколькихъ подлежащихъ имѣютъ одно общее сказуемое или при одномъ подлежащемъ нѣсколько сказуемыхъ. Самое названіе „слитное предложеніе“ объясняется тѣмъ, будто такія предложенія возникаютъ путемъ сліянія нѣсколькихъ предложеній въ одно. Такъ напр. предложеніе „лебеди, гуси и утки плавали по пруду“ слилось по этой теоріи изъ трехъ предложеній „лебеди плавали по пруду“, „гуси пл. п. пр.“ и „утки пл. п. пр.“; точно также предложеніе „утки плавали и ныряли“ объясняется, какъ слитное изъ двухъ предложеній: „утки плавали“ и „утки ныряли“. Не говоря уже о томъ, что это предполагаемое сліяніе предложеній ничемъ не можетъ быть доказано, оно очень мало вѣроятно, а главное вовсе не объясняетъ ничего въ строѣ этихъ предложеній и скорѣе напоминаетъ невинное логическое упражненіе, нежели грамматическій разборъ. По крайней мѣрѣ мы съ одинаковымъ успѣхомъ можемъ доказать, что предложеніе „я съѣлъ два бутерброда съ икрой и три пирожка съ капустой“ тоже состоитъ изъ двухъ предложеній: „я съѣлъ два бутерброда съ икрой“ и „я съѣлъ три пирожка съ капустой“. Можно даже увлечься этимъ занятіемъ и, сообразивъ, что сразу два бутерброда нельзя было съѣсть, раздѣлить и ихъ на два предложенія по одному на каждое и то же продѣлать съ тремя пирожками съ капустою. Тогда мы получимъ слитное предложеніе изъ пяти простыхъ. Однимъ словомъ такое же разложеніе мы можемъ продѣлать съ любымъ предложеніемъ, заключающимъ въ себѣ двѣ или нѣсколько одинаковыхъ частей предложенія; напр. предложеніе „я ѣду въ Петербургъ, Москву и Одессу“ можно разложить на три по тремъ дополненіямъ при глаголѣ „ѣду“. Тѣмъ не менѣе такихъ предложеній никто не называетъ слитными. И если мы зададимъ себѣ вопросъ, почему только для нѣсколькихъ подлежащихъ и нѣсколькихъ сказуемыхъ дѣлается особое исключеніе, а нѣсколько опредѣленій, дополненій и обстоятельствъ признаются въ предложеніи явленіями обычными, то мы не найдемъ на этотъ вопросъ удовлетворительнаго отвѣта. Совершенно ясно, что категорія слитныхъ пред-

ложеній не имѣть никакихъ ни историческихъ, ни грамматическихъ основаній. Она совершенно ненужна.

Различіе предложеній главныхъ и придаточныхъ имѣть гораздо болѣе основаній, и самыя названія даны имъ болѣе удачно. Ошибочно только было бы думать, что главное предложеніе должно содержать главную мысль, а придаточное — ея развитіе: хотя у создателей этихъ названій, вѣроятно, и была такая мысль при выборѣ названій, тѣмъ не менѣе главное предложеніе отличается отъ придаточнаго лишь болѣе самостоятельною формою, между тѣмъ какъ придаточное почти всегда имѣетъ такія формальныя слова, которыя указываютъ на его связь съ главнымъ предложеніемъ. Этими формальными словами бываютъ мѣстоименія, главнымъ образомъ относительныя, и союзы, по большей части тоже восходящіе къ относительнымъ мѣстоименіямъ.

Школьная грамматика классифицируетъ придаточныя предложенія по ихъ значенію, основываясь на томъ, что каждый членъ предложенія можетъ быть выраженъ цѣлымъ придаточнымъ предложеніемъ. Въ то время, когда я учился, придаточныя предложенія по этому признаку раздѣлялись на опредѣлительныя, дополнительные и обстоятельственныя; но съ тѣхъ поръ эта точка зрѣнія сдѣлала большіе успѣхи, и въ учебникахъ появились еще придаточныя предложенія — подлежащаго и сказуемаго. Выводъ вполне естественный и послѣдовательный, но на мой взглядъ подрывающій въ корнѣ самый принципъ дѣленія придаточныхъ предложеній. Возьмемъ для примѣра Крыловскую фразу: „Что волки жадны, всякій знаетъ“. Такъ какъ главное предложеніе требуетъ, какъ говорятъ, дополненія на вопросъ „что всякій знаетъ?“, то предложеніе „что волки жадны“ признается дополнительнымъ. Но, если мы измѣнимъ главное предложеніе и возьмемъ фразу: „что волки жадны, всѣмъ извѣстно“, то предложеніе „что волки жадны“ превратится въ придаточное — подлежащаго, такъ какъ уже будетъ отвѣчать на вопросъ именительнаго падежа „что всѣмъ извѣстно?“. Совершенно ясно, что такимъ образомъ предложеніе „что волки жадны“ можно просклонять по всѣмъ падежамъ, при чемъ оно будетъ обозначать различныя косвенныя дополненія: „я не согласенъ съ тѣмъ, что волки жадны“ и т. д. Можно превратить это предложеніе и въ придаточное ска-

зуемое: „мысль Крылова — та, что волки жадны“. Такимъ образомъ оказывается, что одно и то же предложіе можетъ быть чѣмъ угодно, смотря по тому, рядомъ съ чѣмъ оно стоитъ. Это значитъ опредѣлять елку какъ дерево, около котораго лежать еловыя шишки; понятно, что въ такомъ случаѣ елкою можно назвать и березу, подъ которой валяются еловыя шишки. Ясно, что такая классификація ничего не говоритъ о самыхъ придаточныхъ предложіяхъ и не принимаетъ во вниманіе ни одного ихъ признака. И здѣсь, стало быть, мы приходимъ къ необходимости стать на формальную точку зрѣнія

Если мы зададимъ себѣ вопросъ, чѣмъ именно съ формальной стороны отличается придаточное предложіе отъ главнаго, то увидимъ, что единственнымъ отличіемъ его является союзъ или мѣстоименіе относительное. Въ нашемъ примѣрѣ предложіе „волки жадны“ превращается въ придаточное вслѣдствіе прибавки союза „что“. Очевидно при изученіи придаточныхъ предложій все наше вниманіе должно сосредоточиться на развитіи тѣхъ элементовъ, которые соединяють придаточное предложіе съ главнымъ. Исторія развитія придаточныхъ предложій подтверждаетъ вполнѣ правильность этой формальной точки зрѣнія.

Дѣйствительно, придаточныя предложія являются въ индоевропейскихъ языкахъ сравнительно поздно и расцвѣта своего достигаютъ уже въ періодъ письменности, когда, опираясь на письмо, развивается сложная періодическая рѣчь. Древнѣйшія стадіи индоевропейскихъ языковъ очень бѣдны придаточными предложіями. Относительное мѣстоименіе далеко не во всѣхъ языкахъ имѣетъ одинаковую форму, а это указываетъ на то, что отдѣльные индоевропейскіе языки самостоятельно развивали категорію относительнаго мѣстоименія, которое представляетъ самый существенный элементъ придаточнаго предложія. Индоевропейскій корень \*уе-уо- образуетъ относительное мѣстоименіе только въ санскритѣ и въ греческомъ языкахъ: скр. уаḥ (м. р.), уā (ж. р.), уат (ср. р.) и греч. ὅς (м. р.), ἥ (ж. р.), ὅ (ср. р.). Въ латинскомъ и древне-славянскомъ тотъ же корень имѣетъ указательное значеніе: лат. is, ea, id, др.-слав. и, ѿ, ю. Интересно, что въ др.-славянскомъ языкѣ относительное мѣстоименіе образуется отъ того же корня съ прибавленіемъ ча-

тицы же: *иже, иже, иже* „который“. Въ латинскомъ и русскомъ относительное мѣстоименіе образуется отъ корня вопросительнаго: лат. *qui, quae, quod*, русск. *который, которая, которое*.

Уже этотъ краткій обзоръ намѣчаетъ тѣ пути, которыми слагались мѣстоименія относительныя въ отдѣльныхъ языкахъ. Индоевропейскій корень \**yo-*, \**ye-*, имѣль, очевидно, указательное значеніе и превратился въ относительное мѣстоимѣніе только вслѣдствіе того, что указывалъ на ближайшій упомянутый въ рѣчи предметъ; такъ греческое *ἄνδρα βαλὼν ὃς ἄριστος ἐνὶ Θυρήεσσι τέτυκτο* (Z 7) „поразивъ мужа, который былъ самымъ храбрымъ среди Θракійцевъ“ собственно обозначало „а онъ былъ с. хр. ср. Θр.“ На тотъ же путь возникновенія относительнаго мѣстоименія указываетъ также и др.-славянское *и-же*, обозначающее собственно „а онъ“; напр. *вълѣзъше въ единъ отъ корабцию, иже бѣ синомовъ*, („а онъ былъ Синомовъ“) *моли і отъстѣпнѣи мло.* (Зогр. Лук. V, 3).

Русское „который“ и латинское *qui, quae, quod* указываютъ на возникновеніе относительнаго мѣстоименія изъ вопросительнаго. Очевидно, развитіе шло черезъ такъ называемый косвенный вопросъ: вопросительное предложеніе примыкало непосредственно къ другому, превращалось сначала въ косвенный вопросъ, а потомъ утрачивало вопросительное значеніе и превращалось въ относительное. „Который человекъ сказалъ? Укажи его“ — „Укажи человека, который сказалъ? — „Укажи человека, который сказалъ“.

Нарѣчія, образовавшіяся изъ застывшихъ косвенныхъ падежей относительнаго мѣстоимѣнія и изъ другихъ образованій превратились въ союзы. Такъ русскія „что, гдѣ, куда, когда, какъ...“ всѣ восходятъ къ тому же корню вопросительнаго мѣстоимѣнія, изъ котораго возникло и относительное. Въ греческомъ союзы *ὅτι* „что“, *ὅτε* „когда“, *ὡς* „какъ“ и т. д. тоже сохраняютъ ясную связь съ относительнымъ мѣстоименіемъ *ὃς* „который“. То же самое можно сказать о латинскихъ союзахъ *quod* „что“, *cum* „когда“, *quo* „чтобы“ и т. д.

Приведенныя соображенія показываютъ, что при изученіи строя придаточныхъ предложеній прежде всего необходимо обращать вниманіе на развитіе относительнаго мѣстоименія и союзовъ. И въ главномъ предложеніи, къ которому примыкаетъ придаточное, нерѣдко развиваются указательныя мѣсто-

именія и частицы, которыя иногда даютъ матеріаль для образованія союза. Такъ русское „потому что“ состоитъ изъ указательнаго „потому“, принадлежащаго къ главному предложению, и союза „что“, относящагося къ придаточному предложению; но эти части настолько тѣсно примыкаютъ одна къ другой, что мы обычно ставимъ запятую передъ „потому что“, т. е. все это сочетаніе относимъ къ придаточному предложению.

Въ связи съ исторіей развитія придаточныхъ предложений стоитъ и ученіе школьной грамматики о такъ называемыхъ сокращенныхъ придаточныхъ предложенияхъ. Здѣсь обыкновенно указывается на сокращеніе опредѣлительныхъ придаточныхъ предложений въ причастія и обстоятельственныхъ предложений въ дѣепричастія. Такъ какъ для дополнительныхъ предложений особой формы сокращенія не оказывалось, а стройность теоріи требовала, чтобы и здѣсь были сокращенныя придаточныя предложения, то пришлось признать, что дополнительные предложения, могутъ сокращаться въ простыя дополненія. Но въ этомъ именно случаѣ и обнаружилась слабость теоріи сокращенныхъ придаточныхъ предложений. Дѣйствительно, если дополнительное предложение, сокращаясь, принимаетъ форму простаго дополненія, то, значить, всякое дополненіе мы можемъ разсматривать, какъ сокращенное придаточное предложение. Въ этомъ и сказывается слабость теоріи, такъ какъ здѣсь мы уже не имѣемъ никакихъ признаковъ сокращеннаго предложения. Но и въ первыхъ двухъ случаяхъ, гдѣ признакомъ сокращенія признаются особыя отглагольныя формы причастія и дѣепричастія, и здѣсь теорія идетъ въ разрѣзъ съ исторіей. Формы причастія, изъ котораго, какъ мы видѣли, развились и дѣепричастія, существовали уже въ индоевропейскомъ первоначальномъ языкѣ: это видно изъ того, что многія причастія во всѣхъ индоевропейскихъ языкахъ имѣютъ одинаковое образованіе. Между тѣмъ, мы видѣли, что относительное мѣстоименіе развивается уже на почвѣ отдѣльныхъ индоевропейскихъ языковъ, слѣдовательно, позднѣе причастій. Исторически дѣло шло скорѣе обратно: то, что первоначально могло быть выражено только при помощи причастій, съ появленіемъ относительныхъ мѣстоименій стало возможнымъ выражать полнымъ придаточнымъ предложениемъ. Мы могли бы, слѣдовательно, съ большимъ правомъ говорить о рас-

пространеніи причастій въ предложенія, чѣмъ о сокращеніи предложеній въ причастія. Но и это едва-ли было бы правильно. Мы имѣемъ въ языкѣ двѣ формы выраженія приблизительно однихъ и тѣхъ же отношеній: одну — болѣе подробную, другую — болѣе короткую; но ни о сокращеніи, ни о роспространеніи здѣсь не можетъ быть рѣчи, такъ какъ обѣ формы развиваются самостоятельно и изъ различныхъ источниковъ. Это соображеніе подтверждается особенно тѣмъ обстоятельствомъ, что роспространеніе причастій, или дѣепричастій въ цѣлыя предложенія зачастую не можетъ быть произведено безъ насилія надъ языкомъ. Такъ напр. предложеніе „играя словами, я могу доказать что угодно“ едвали возможно роспространить въ „когда (если) я играю словами, я могу доказать что угодно“. Очевидно, дѣепричастіе выражаетъ нѣчто такое, что не можетъ быть передано никакимъ полнымъ придаточнымъ предложеніемъ. Едвали также можно роспространить причастіе „срубленное“ въ предложеніи „срубленное дерево лежало поперекъ дороги“, такъ какъ „срубленное дерево“ не всегда можно замѣнить словами „которое было срублено“. Примѣровъ съ причастіемъ дѣйствительнаго залога я не привожу, потому что эти наши причастія заимствованы въ книжный языкъ изъ церковно-славянскаго языка и съ этой точки зрѣнія представляютъ нѣчто искусственное: понятно, поэтому, что предложенія съ относительнымъ мѣстоименіемъ въ этомъ случаѣ производятъ болѣе естественное впечатлѣніе, нежели причастія. Эти замѣчанія приводятъ насъ къ тому выводу, что говорить о сокращенныхъ или роспространенныхъ предложеніяхъ можно только въ очень условномъ и неопредѣленномъ смыслѣ. Оставаясь на формальной почвѣ, мы можемъ только принимать причастія за прилагательныя, формы которыхъ они и имѣютъ; слѣдовательно, причастія должны въ предложеніи играть роль опредѣленій. Точно также и дѣепричастія слѣдуетъ считать простыми обстоятельствами, такъ какъ по формѣ они представляютъ изъ себя нарѣчія глагольнаго происхожденія.

Послѣ этихъ бѣглыхъ замѣчаній о строѣ индоевропейскаго предложенія, я постараюсь въ видѣ таблицы изобразить результаты предыдущаго изложенія. Эта таблица должна въ общей схемѣ изобразить составъ русскаго предложенія, на которомъ я главнымъ образомъ останавливался для ил-

люстраціи своихъ положеній. Она должна показать, какія части мы различаемъ въ предложеніи и какими формами эти части предложенія выражаются, иными словами, въ какомъ отношеніи стоятъ части рѣчи къ частямъ предложенія. Школьная грамматика обыкновенно не выясняетъ разницы между частями рѣчи и частями предложенія и въ сущности ея не проводитъ и на практикѣ. Особенно рѣзкимъ примѣромъ такой непослѣдовательности можетъ служить союзъ. Союзъ не признается частью предложенія, а причисляется къ частямъ рѣчи. Между тѣмъ, какъ мы видѣли, союзъ является существеннымъ признакомъ придаточнаго предложенія и вообще только съ строемъ предложенія онъ и имѣетъ смыслъ. Ясно, поэтому, что союзъ мы должны перечислить изъ частей рѣчи въ части предложенія. Но не слѣдуетъ ли его все же оставить и среди частей рѣчи? Если держаться того принципа, что каждой части предложенія должна соответствовать и какая нибудь часть рѣчи, то конечно, союзъ слѣдуетъ оставить и въ разрядѣ частей рѣчи. Однако этотъ вопросъ не имѣетъ практическаго значенія, такъ какъ союзъ неизмѣняемое слово и въ роли члена предложенія онъ можетъ явиться лишь въ той же самой формѣ, въ какой онъ является и частью рѣчи. Для полноты схемы слѣдовало-бы придумать для союза, какъ части рѣчи, особое названіе.

Подлежащее.	Сказуемое.	Опредѣленіе.	Дополненіе.	Обстоятельство.	Союзъ.
Именит. п. существительнаго имени.	Глаголь въ личной формѣ. Именит. п. имени со связкою.	Прилагательное имя и причастіе.	Косвенные падежи существв. им. безъ предлоговъ или съ предлогами.	Нарѣчіе и дѣпричастіе.	Союзъ.

На первый взглядъ можетъ показаться, что эта таблица не даетъ полнаго обзора всѣхъ частей рѣчи: не упомянуты въ ней числительныя и мѣстоименія. Но эти части рѣчи отличаются особеннымъ характеромъ. Прежде всего и числительныя и мѣстоименія могутъ имѣть и всегда имѣютъ либо форму прилагательнаго, либо форму существительнаго,

и въ послѣднемъ счетѣ именно эта форма и опредѣляетъ роль числительнаго или мѣстоименія въ предложеніи. Числительныя и мѣстоименія выдѣляются въ особыя категоріи только въ виду ихъ особеннаго значенія. Выдѣленіе числительныхъ въ особую категорію оправдывается только тѣмъ, что они нерѣдко сохраняютъ старыя падежныя формы и развиваютъ особые обороты, отличающіеся необычнымъ согласованіемъ. Что числительное есть часть рѣчи не въ томъ же смыслѣ, какъ прилагательное и существительное, видно уже изъ того, что въ сферѣ числительныхъ мы находимъ и существительныя, и прилагательныя, и даже особаго образованія нарѣчія, какъ дважды, трижды и т. п. То же можно сказать и о мѣстоименіяхъ: особенность ихъ значенія заключается въ томъ, что они имѣютъ указательное значеніе, но и здѣсь дѣло не можетъ обойтись безъ тѣхъ же общихъ категорій существительнаго, прилагательнаго и нарѣчія: „я“ существительное, „мой“ — прилагательное, „такъ“ — нарѣчіе и т. д. И здѣсь выдѣленіе мѣстоименій въ особую категорію оправдывается множествомъ старыхъ формъ склоненія, сохраненныхъ только мѣстоименіями; эти особыя формы даютъ намъ право говорить объ особомъ мѣстоименномъ склоненіи.

Нашъ краткій очеркъ строя индоевропейскаго предложенія имѣлъ въ виду показать, насколько теоретическія положенія языкознанія должны тѣсно связываться съ историческими явленіями жизни языка. Мы видѣли, что различныя опредѣленія предложенія страдали оторванностью отъ развитія формъ выраженія нашихъ мыслей въ языкѣ. Разсмотрѣніе строя индоевропейскаго предложенія показало намъ, что въ предложеніи непрерывно совершаются различныя измѣненія формъ и создаются новыя грамматическія категоріи. Созданіе этихъ грамматическихъ формъ выраженія нашихъ мыслей существенно измѣняетъ и фізіономію предложенія въ различные періоды жизни языка. Научное изученіе языка и должно сводиться къ установленію преемственности въ развитіи грамматическихъ формъ нашей рѣчи. Нашъ очеркъ имѣлъ въ виду установить въ самыхъ общихъ чертахъ схему научной грамматической системы. Болѣе подробное изученіе развитія грамматическихъ формъ нашей рѣчи составляетъ задачу сравнительной грамматики индоевропейскихъ языковъ.